

## ПИСЬМА ЖОРЖА ДАНТЕСА БАРОНУ ГЕККЕРЕНУ 1835—1836 ГОДОВ

*Зимой — в последние годы своей жизни — Пушкин гулял по Невскому проспекту в поношенном цилиндре и в долгополой, выдавшей виды бекеше. Поскольку то был поэт, баловень муз и Божий избранник, публика оборачивалась ему вслеп, провожая долгими любопытствующими взглядами. Самые наблюдательные из ее числа, к своему великому изумлению, замечали, что на бекеше, в которую был одет Пушкин, в том месте, где, схваченные хлястиком, крупные складки должны прилегать к талии, не хватало одной пуговицы. <...>*

*Нас тоже и беспокоит, и вызывает любопытство этот ничтожный изъян в костюме Пушкина, но не хотелось бы уподобиться при этом недалекому бытописателю вроде господина Колмакова, озабоченному тем, что около Пушкина «не было ухота». Надо ли пояснять, что в доме Пушкиных держали достаточное количество прислуги и смотреть за гардеробом мужа отнюдь не было обязанностью Наталии Николаевны, как это пытается представить наш мемуарист, рисуя в своем воображении картину совсем иного быта, этакую жанровую сценку семейной жизни городского буржуа с ленивой, неряшливой и не радеющей о нелюбимом муже женой. Это явный анахронизм, однако не хотелось бы впадать и в другую крайность, представляя дело так, будто Пушкин намеренно щеголял по Невскому с оторванной пуговицей, и видеть в этом определенный умысел. И все же зададимся вопросом, не может ли одна мелкая недостающая деталь пролить хоть какой-то свет на затененную сторону биографии поэта — на жизнь камер-юнкера Пушкина. Нельзя ли подойти к этому вопросу как к символическому знаку, пытаясь разгадать смысл шутиливой «шифровки», адресованной нам.*

*Серена Витале, «Пуговица Пушкина»\**

Ровно за три года до того дня, когда Пушкин получил вызов на дуэль от барона Жоржа Геккерена, 26 января 1834 года, поэт впервые упомянул его в своем дневнике под тем именем, которое носил этот уроженец Франции, принятый в тот год на русскую службу: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Таков был первый словесный выпад Пушкина по адресу своего будущего противника, а пока новоявленного кандидата в кавалергарды. Нужно быть человеком той эпохи или основательно вжиться в нее, чтобы вполне оценить это случайное замечание Пушкина. Дорога в гвардию открывалась далеко не каждому, тем более сразу с офицерским чином. Хотя бы кратковременное юнкерство было обязательной ступенью перед производством в офицерский чин даже для представителей самых знатных русских фамилий. Пушкин ошибся: в гвардию приняли сразу только одного Дантеса, маркиз де Пина был зачислен в армию. Шуанами, как именуют их поэты, называли роялистов, участников вандейского восстания во Франции 1793 года в поддержку свергнутой монархии. Основу движения составляли крестьяне, действовавшие партизанскими методами и преимущественно ночью. Отсюда происходит и их прозвище — от французского chouette — сова. Шуанами стали называть и тех, кто, оставшись верен свергнутому Карлу X Бурбону, собрался в 1832 году в Вандее вокруг невестки короля герцогини Беррийской. Среди них был и ученик Сен-Сирской военной школы в Париже барон Жорж-Карл Дантес, сражавшийся во время июльской революции 1830 года на площади Людовика XV против восставших. Ему было в ту пору восемнадцать лет. Родившийся в феврале 1812 года, он был ровесником Наталии Гончаровой, появившейся на свет в день Бородинской битвы. В дни июльского восстания во Франции Пушкин, только что помолвленный с Гончаровой, пребывает в радужном настроении, но вскоре окажется, что с первой попытки соединить с нею свою судьбу ему не удастся.

8 сентября 1833 года — по новому григорианскому календарю в Натальин день — барон Жорж Дантес прибыл в Россию. В этот день Пушкин, бывший далеко от Наталии Николаевны, пишет ей письмо из Казани, начиная его обращением: «Мой ангел, здравствуй». Между прочим он замечает: «Погода стоит прекрасная, чтоб не сглазить только». Известно, что Пушкин был очень суеверен. Верил он и в предсказание цыганки, что будет убит «белым человеком». Блондин и приверженец белого королевского стяга Жорж Дантес по одной из версий явился в Россию в свите голландского посланника барона Якоба-Борхарда ван-Геккерена де Беверваарда, возвращавшегося из отпуска в Петербург. Они познакомились якобы по пути в Россию в маленьком городке, где остановились в одной гостинице, и посланник взяв

\* Serena Vitale. Il Bottone di Puškin. Adelphi Edizioni. Milano, 1995, p. 109, 149.

Дантеса под свое покровительство. Его связям, а также рекомендательному письму прусского принца Вильгельма, будущего германского императора, брата императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, Дантес обязан своим поступлением в гвардию.

Весною 1835 года барон Геккерен начинает хлопоты об усыновлении Дантеса, для чего почти на год покидает Россию. Именно к этому времени относятся письма Дантеса к Геккерену, публикуемые известной итальянской исследовательницей и переводчицей Сереной Витале — профессором университета, г. Павия, автором ряда книг и статей, посвященных русской литературе. О существовании этих писем пушкинисты знали давно: не могли не переписываться два человека, ставшие столь близкими друг другу. Особый интерес должны были представлять в первую очередь письма Дантеса из Петербурга, из гущи событий, когда в отсутствие Геккерена он начинает ухаживать за Наталией Николаевной. Пушкин, которому понравился остроумный и веселый француз, сам ввел его в свой дом. Он познакомился с ним летом 1834 года, когда из-за отсутствия Наталии Николаевны вел холостую жизнь и обедал в ресторане Дюме, где столовался и Дантес. Так начинал завязываться узел отношений Пушкина с Дантесом, разрубленный поединком на Черной речке.

В 1946 году французский исследователь Анри Труайя опубликовал фрагменты двух писем из тех, что ныне представлены нашему читателю Сереной Витале. В 1951 году известный пушкинист М. А. Цявловский перевел эти два отрывка и, сопроводив комментариями, напечатал в девятом томе альманаха «Звенья». С тех пор они вошли в оборот пушкиноведения, и ни одна работа, хоть как-то затрагивающая события вокруг дуэли Пушкина с Дантесом, не обходилась без обращения к этим письмам и к их зачастую головокружительным интерпретациям. Эти два фрагмента писем от 20 января и 14 февраля 1836 года, вырванные из общего контекста остальных посланий Дантеса Геккерену, создавали поле, открытое для самых разнообразных заключений. Отдала им дань и Анна Андреевна Ахматова, опровергнув на их основании мнение автора знаменитого труда «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголева, полагавшего, что историю увлечения Дантеса Наталией Николаевной следует вести с осени 1834 года. В этих двух письмах Дантес сообщает о своем увлечении как о новости, называя его «новой страстью». Имя «самого прелестного создания в Петербурге» Дантес не называет из опасения, что письмо может быть перлюстрировано. Рыцарственность, проявленная в данном случае, также была подвергнута сомнению. Во всех смыслах эти письма произвели сенсацию. С. Л. Абрамович, автор ряда исследований, посвященных последним годам жизни поэта, цитируя первое из них, писала: «В свое время, когда эти два письма Дантеса — это и следующее — были опубликованы, они произвели ошеломляющее впечатление, так как впервые осветили события „изнутри“, с точки зрения самих действующих лиц. До тех пор об отношениях Дантеса и Наталии Николаевны мы знали лишь по откликам со стороны».

Как теперь ясно, между этими двумя письмами было еще одно: от 2 февраля 1836 года. Оно вводит весьма существенный мотив во всю историю отношений Дантеса и Наталии Николаевны: мотив готовности молодого француза, действительной или мнимой, следовать советам своего старшего друга. «Я последую твоим советам, ведь ты мой друг, и я хотел бы излечиться к твоему возвращению и не думать ни о чем, кроме счастья видеть тебя и радоваться тому, что мы вместе».

Как свидетельствует С. Витале, Анри Труайя получил от правнука Дантеса полный текст двух писем, но напечатал только их фрагменты, к тому же с ошибками, породившими много нелепых толкований. Н. А. Раевский в книге «Портреты заговорили» писал, к примеру, что «виновность Натали после публикации двух писем Дантеса доказана бесспорно». В свою очередь, И. Ободовская и М. Дементьев даже подвергли сомнению подлинность писем: «Можно предположить, что письма Дантеса написаны много лет позднее и оставлены им среди бумаг „для оправдания потомством“». Подобные заключения сродни широко распространенному мифу о кольчуге Дантеса и разве что обличают отсутствие у их авторов каких бы то ни было представлений о кодексе дворянской чести. Семен Ласкин, автор книги «Вокруг дуэли», несмотря на то, что видел эти письма в архиве барона Клода Дантеса, на основании знакомства с фрагментами двух из них высказал совсем уже странное соображение о том, что предметом страсти Дантеса была вовсе не Наталия Николаевна, а Идалия Полетика.

С. Витале оказалась первой, кому в полной мере доверился правнук Дантеса, предоставив именно ей возможность ознакомиться и с письмами Дантеса, и с другими материалами его архива. Известная своими книгами и статьями о Цветаевой, Мандельштаме и других русских писателях начала XX века, переводившая и издававшая их, С. Витале пришла в конце концов к первому поэту России. Причем начала она с конца — с истории дуэли Пушкина. Результатом почти десятилетнего труда стала ее книга, только что вышедшая в Италии.

Странное на первый взгляд название книги автор объясняет в одной из глав, фрагменты которых в переводе на русский язык представлены в настоящей публикации. Некто Колмаков Николай Маркович, студент Петербургского университета, встретив Пушкина на Невском проспекте, обратил внимание на отсутствие пуговицы на бекеше поэта. Из этого он сделал глубокомысленный вывод о том, что «около него не было ухода». Недостающая пуговица является в книге символом такого рода поверхностных суждений. Из-за отсутствия документов и писем, а также в силу полярных пристрастий советское пушкиноведение стремилось обелить или, наоборот, очернить жену поэта. Все это сказалось при оценке тех фрагментов, которые опубликовал в свое время Анри Труайя. Вырванные из контекста, они породили цепь пристрастных оценок. С. Витале, которой удалось получить доступ ко всем письмам, хранившимся у потомков Дантеса, имела возможность со всею полнотой проанализировать как тексты писем, так и уточненные теперь факты, касающиеся последних лет жизни поэта. Автор внесла в свой научный труд элемент детектива, по достоинству уже оцененный как итальянскими читателями, так и критиками. В предисловии к публикации писем Дантеса в России, написанном эмоционально и с какой-то трогательной открытостью души, С. Витале выражает

надежду, что ее труд (корпение в архивах, прочтение и разбор тысяч писем и документов) даст ей в России «право на почетное (метафорическое, конечно) гражданство».

«Пуговица Пушкина» вышла в престижной и популярной итальянской серии «Библиотека Адельфи». В этой серии в разное время выходили книги С. Аксакова, А. Стриндберга, В. Ходасевича, Р.-М. Рильке, В. Набокова, Д. Хармса, Н. Берберовой, И. Бродского и других старых и новых крупных писателей. В этой серии С. Витале выпустила и два тома писем Марины Цветаевой, переведенных ею на итальянский язык. Новая книга несомненно займет достойное место в ряду трудов, посвященных истории дуэли и смерти первого поэта России, скрепив собою разорванные звенья в цепи событий, приведших Пушкина и Дантеса к барьеру на Черной речке.

Публикуемые ниже письма в полной мере использованы и интерпретированы С. Витале в ее книге, но не были там полностью напечатаны. На языке оригинала они с соответствующим комментарием теперь готовятся к изданию, пока же госпожа Витале любезно предоставила их нам для публикации в России (с незначительными купюрами, никак не затемняющими их общего смысла; все купюры в тексте отмечены). Перевод на русский оказался затруднен в связи с тем, что язык оригинала сбивчив, подчас бессвязен и далек от литературной грамотности. Ради выявления смысла переводчик вынужден был иногда отходить от скрупулезной идентичности. Однако чрезмерное выглаживание авторской стилистики мы сочли неоправданным.

Общее число писем Дантеса к Геккерену — двадцать пять, представлено для печати — двадцать одно. Первое помечено 18 мая 1835 года, последнее даты не имеет, но она установлена С. Витале как 6 ноября 1836 года, исходя из сопоставления контекста письма с известными событийными вехами тех дней.

Первое из писем написано вскоре после отъезда Геккерена из Петербурга и представляет собою ответ на письмо посланника Дантесу. Посвященное прежде всего воспоминанию о провах Геккерена до Кронштадта и собственному возвращению обратно в Петербург, это письмо задает общий и в дальнейшем неизменный тон остальным письмам. Уверения в преданности и любви к Геккерену, благодарность за сделанные подарки перемежаются светскими сплетнями, полковыми новостями, в которых особое место занимают заботы и связанные с ними волнения по поводу собственной карьеры. Ни единого раза не идет речь о какой-нибудь прочитанной книге, нет упоминаний и о театральных постановках, а имена актеров французской труппы всплывают в письмах только в связи с театральными скандалами и сплетнями. Ими в полной мере кормит Дантес своего приемного отца.

Письма вносят дополнительные штрихи в психологический портрет Дантеса, который сложился у нас на основании всех ранее известных фактов и мемуарных свидетельств. Для нас в этих письмах ценно прежде всего то, что они обращены к человеку, с которым Дантес вполне откровенен. Маска светских условностей сброшена, он не встает ни в одну из тех поз, которые демонстрирует на людях. Не снимается только одна маска — признательного и любящего друга.

Главной заботой Дантеса является, несомненно, карьера — ей подчинено все. О каких бы скандальных происшествиях в Петербурге ни сообщал он своему приемному отцу, он с удовлетворением отмечает свою непричастность к ним и тем самым отсутствие пагубных последствий на служебном поприще. Так в письме от 1 сентября 1835 года, поведав Геккерену об очередной выходке своих однополчан-кавалергардов, он замечает: «...я, конечно, не хотел бы оказаться на их месте, ведь эти бедняги разрушат свою карьеру и все из-за шуток, которые ни смешны, ни умны, да и сама игра не стоила свеч». В этом весь Дантес, такой, каким он проявит себя и в истории с Пушкиным.

Очень характерна с этой точки зрения история, рассказанная в письме от 2 августа 1835 года, о празднике в Графской Славянке под Павловском — в имении графини Юлии Самойловой, или Жюли, как Дантес ее называет. Описание этого праздника мы встречаем и в письме Ольги Сергеевны Павлищевой, сестры Пушкина, своему мужу Николаю Ивановичу от 12 сентября того же года из Павловска: «Кстати о новостях: Его Величество разрешил графине Самойловой удалиться при условии не появляться ни в Москве, ни в Петербурге. Недавно она вздумала устроить деревенский праздник в своей Славянке, наподобие праздника в Белом Доме Поль де Кока; поставили шест с призами — на нем висел сарафан и повойник: представьте себе, что приз получила баба 45 лет, толстая и некрасивая! Это очень развлекло графиню, как вы можете представить, и все ее общество, но муж героини поколотил ее и все побросал в костер. [...] Говорят, что офицеры, которые явились без позволения на этот праздник, завтра были под арестом». В числе провинившихся Дантеса не было. Он пишет Геккерену, что «счел за лучшее не бывать там, раз Император так категорически объявил себя противником тех, кто на короткой ноге бывал в этом доме». Осторожность и еще раз осторожность руководят поведением Дантеса.

Успехом своей карьеры он обязан прежде всего своему старшему другу и покровителю, к советам которого он подчеркнуто прислушивается. Но эгоистические соображения Геккерена все-таки мешают продвижению по службе его приемного сына. Интересно отметить один, хотя и осторожный упрек, сделанный Дантесом Геккерену, почти затерявшийся в потоке благодарностей за разумные советы. В письме от 2 февраля 1836 года, сообщая о своем производстве в поручики, Дантес говорит о том, что это могло бы произойти и раньше, если бы не стремление Геккерена удержать его при себе: «Честно говоря, мой дорогой друг, если бы в прошлом году ты захотел меня поддержать чуть больше, когда я просился на Кавказ — теперь ведь ты можешь это признать, или я сильно заблуждался, всегда считая это несогласием, конечно, тайным, — то на будущий год я путешествовал бы с тобой как поручик-кавалергард, да вдобавок с лентой в петлице, потому что все, кто был на Кавказе, вернулись в добром здравии и были представлены к крестам, вплоть до маркиза де Пина». Заканчивается это письмо словами: «...если бы я был там, может быть, тоже что-нибудь бы привез».

Продитированное письмо расположено между двумя письмами, известными нам во фраг-

ментах, опубликованных Анри Труайя. Мягко сделанный упрек, что симптоматично, следует за просьбой о совете, как повести себя с Наталией Николаевной: «Наконец, мой дражайший, только ты можешь посоветовать мне в этом деле, что надо делать, скажи?» Выраженная в этом письме, явно в угоду Геккерену, готовность излечиться от своей любви снижает образ пылкого влюбленного, каким он представал на основании двух давно известных писем.

Все нюансы этого запутанного романа по-новому освещаются ныне в книге С. Витале. В настоящей публикации приведены лишь некоторые суждения исследовательницы по самым ключевым моментам преддзвонной истории Пушкина.

Первым является самое раннее упоминание Наталии Николаевны в письмах Дантеса. Оно относится к письму от 20 января 1836 года, тому, которое уже вызвало столько разноречивых толкований. На основании этого письма А. А. Ахматова писала в статье «Гибель Пушкина»: «Я ничуть не утверждаю, что Дантес никогда не был влюблен в Наталию Николаевну. Он был в нее влюблен с января 36-го г. до осени. Во втором письме „Elle est simple“ (Она дуручка). Но уже летом эта любовь производила на Трубецкого впечатление довольно неглубокой влюбленности, когда же выяснилось, что она грозит гибелью карьеры, он быстро отрезвел, стал осторожным, в разговоре с Соллогубом назвал ее „mijaugée“ (кривлякой) и „naïfin“ (дуручкой, глупышкой), по требованию посланника написал письмо, где отказывается от нее, а под конец, вероятно, и возненавидел, потому что был с нею невероятно груб и нет ни тени раскаяния в его поведении после дуэли». Публикация писем Дантеса Геккерену вносит существенные коррективы в эти суждения, но основное довольно точно очерчено Анной Андреевной. Под давлением Геккерена Дантес, о чем свидетельствует письмо от 6 марта 1836 года, готов якобы «пожертвовать этой женщиной» ради него. И все же это только слова, страсть оказывается сильнее его, он тут же укоряет Геккерена в суровости и даже в поклепе на ее честь: «Ты был не менее суров, говоря о ней, когда написал, будто до меня она хотела принести свою честь в жертву другому, но, видишь ли, это невозможно». Дантес оказался меж двух огней — любовь к Наталии Николаевне, с одной стороны, и ревность Геккерена, с другой.

С возвращением Геккерена в Петербург в первой половине мая 1836 года переписка, естественно, прерывается. В этот период и Наталия Николаевна в виду траура по свекрови Надежде Осиповне, умершей в Светлое Воскресение 29 марта 1836 года, и в связи с беременностью, разрешившейся рождением дочери, не выезжала в свет. С осени ухаживания Дантеса возобновляются, принимая все более откровенный характер.

Два последних письма, даты которых установила С. Витале, представляют наибольший интерес. Мы впервые узнаем точно о том, что было туманно известно лишь по догадкам и отдельным указаниям лиц, причастных к происшедшей драме. Мы знали, что на каком-то вечере во второй половине октября 1836 года состоялось решительное объяснение Дантеса с Наталией Николаевной, когда она отвергла его притязания. Теперь мы можем назвать и место и день этого важного объяснения: 16 октября на квартире у Вяземских. Письмо написано Дантесом на другой день, 17 октября, во время дежурства, из кавалергардских казарм, когда другого, кроме эпистолярного, способа сношения с Геккереном у него не было. Дантес буквально диктует Геккерену, как он должен повести себя с Наталией Николаевной. В хронике этих дней, предшествовавших появлению 4 ноября известных анонимных писем, всегда была значительная, теперь только заполненная лакуна, так как мы не знали, где и когда Геккерен, по выражению Пушкина (в его обвинительном письме голландскому посланнику, отосланном 26 января 1837 года), «отчески сводничал» своему «так называемому сыну». Выясняется теперь, что это произошло 17 октября 1836 года на вечере у баварского посланника графа Максимилиана Лерхенфельда, осмеянного Дантесом не однажды в предшествующих письмах. Можно назвать и современный адрес дома, где располагалось в ту пору баварское представительство, — Дворцовая набережная, 16.

Последнее письмо (точнее записка) также писалось с очередного дежурства. В это время старший Геккерен хлопотал об отсрочке дуэли, представлявшейся неизбежной после вызова, который вечером 4 ноября Пушкин отправил по городской почте на имя барона Жоржа Геккерена. Предстоящая дуэль грозила для обоих Геккеренов полным крахом карьеры в России. В дальнейшем развитии событий сыграет свою роль и Екатерина Гончарова. И это письмо от 6 ноября, а также цитируемые по книге С. Витале (правда, в переводе с итальянского) два позднейших письма Дантеса уже своей невесте Екатерине достаточно наглядно обрисовывают ее негативную роль в преддзвонной истории поэта. Очевидно, что сторону Дантеса она стала держать еще до помолвки. Оценка ее действий лучше всего дана самим Дантесом в заключительной фразе публикуемых писем — в приписке к письму от 6 ноября 1836 г.: «Во всем этом Екатерина — доброе создание, она ведет себя восхитительно».

Роль самого Геккерена-старшего публикуемыми письмами также проясняется. Еще П. Е. Щеголев, основываясь на дошедших до нас оправданиях голландского посла, высказался в осторожной форме следующим образом: «Итак, следуя соображениям здравого смысла, мы более склонны думать, что барон Геккерен не повинен в сводничестве: скорее всего, он действительно старался о разлучении Дантеса и Пушкиной». «Соображения здравого смысла» теперь обрели более твердое основание в письмах Дантеса. Хотя до нас и не дошли ответные письма посла своему приемному сыну, реакция Дантеса на них является весомым свидетельством ревности его корреспондента к Наталии Николаевне. Поначалу он пытался очернить ее в глазах Дантеса, а когда это не удалось, то он предпринимает все возможное, чтобы отдалить их друг от друга. Готовность Дантеса следовать любому совету, который даст ему Геккерен, выраженная в письме от 6 ноября 1836 года — в разгар переговоров по поводу вызова на дуэль, сделанного Пушкиным после получения анонимных писем, приводит его под венец с Екатериной Гончаровой. При этом совпали желания трех сторон: Геккерена, Екатерины и Пушкина, писавшего позднее послу: «...я заставил Вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое,

быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном».

Итак, в начале ноября даже Пушкин не отказывал Дантесу в том, что им владела возвышенная страсть, в каких бы выражениях это ни было сделано. О наличии этого чувства говорят и все письма, начиная с первого от 20 января 1836 г., в котором так и не названная по имени, тем не менее фигурирует Наталия Николаевна. Опять же страсть руководит Дантесом, когда он в письме от 17 октября буквально диктует Геккерену, как тому следует вести себя с Наталией Николаевной на вечере у Лерхенфельдов. И тут Геккерен вынужден изменить своей линии поведения и «отечески сводничать», пользуясь выражением Пушкина, своему приемному сыну. Со слов Александры Гончаровой мы знаем, что незадолго до 4 ноября Геккерен убеждал ее сестру «оставить своего мужа и выйти за его приемного сына». Александрина не могла только припомнить, было ли это сделано письменно или устно. Теперь мы знаем, где, когда и как это было сделано.

Два последних письма Дантеса подтверждают не только то, что он писал любовные письма Наталии Николаевне, но и то, что после получения Пушкиным анонимных писем и состоявшегося его объяснения с женой она показала ему письма Дантеса. Писались эти любовные письма, как Пушкин и предполагал, с ведома и при участии Геккерена. Выдает это обстоятельство просьба Дантеса к Геккерену не использовать в разговоре с Наталией Николаевной «выражений, которые были в том письме».

Несомненно, что целый ряд утраченных деталей мозаичной картины трагедии, которая не перестает волновать Россию, восполнен публикуемыми письмами. Пуговица Пушкина как будто бы вернулась на положенное ей место на хлястике злополучной бекеши, в которой Пушкин отправился было на место роковой дуэли, но из-за холода сменил ее на медвежью шубу.

Вагим Старк

## ПРЕДИСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА\*

Дуэлью и смертью Пушкина я начала заниматься летом 1988 года. Тогда я правила гранки писем Цветаевой. Эти письма я собирала долгое время и с огромным трудом, выпрашивая клочки бумаги и обрывки информации у более или менее законных владельцев (тогда, это поймет любой русский, цветаевские письма были неизданными и запрещенными). Вечная попрошайка, вечный случайный гость духовного застолья, где только самые верные друзья принимали меня без недоверия. Тем же летом 1988 года я читала монографию Щеголева, которая была недавно переиздана в Москве.

Читала и говорила самой себе: «Вот еще одна ужасная история, в которой судьба, страшный слуха сцены всех великих русских, пытается подражать литературному творению». Читала и говорила самой себе: «Я об этом напишу, и на этот раз мне будет намного легче: ведь Пушкин — классик, все уже написано, нужно будет только собрать, организовать и переработать всю огромную литературу, посвященную этой теме. Это была трагическая, роковая ошибка. Ошибка литературоведа, посвятившего себя двадцатому веку и думавшего, что девятнадцатый век — счастливый остров без пробелов и цензуры, только частично разъеденный червем идеологии. Я начала собирать обширнейшие русские материалы о смерти Пушкина и поняла, что тысячи предрассудков извратили истину: начиная с идеологических (в советское время да и ранее — идеология с обратным знаком) до глубокой боли, которая вызывает мое удивленное восхищение. Россия — единственная в мире страна, которая не перестает скорбеть по своим поэтам. Только в России «убийце Пушкина» (так Дантес представлен во всех русских реестрах: «убийца» — как будто это профессия или титул — навсегда увековечен в позе выстрела) могла выпасть судьба стать предметом самой искренней и до сих пор вибрирующей в воздухе ненависти. Только в России убийство Поэта равно Богоубийству.

Год я провела за чтением и работой, приходя в недоумение каждый раз, когда обнаруживала, что новые поколения пушкинистов очень часто не знают французского, который был вторым, а иногда и первым языком «пушкинской эпохи» (представьте себе итальянского специалиста по Данте, который не знает латыни и читает в переводе *De vulgari eloquentia*), не знают эпоху, не знают свою историю. Я, конечно, понимала, что все это — не по их вине и что это тоже было следствием тупого и варварского режима. Но мне не всегда удавалось победить досаду, особенно когда русские друзья и коллеги, которых я просила о помощи (во всяком случае, их большинство), говорили мне: «Зачем об этом писать? Здесь, у нас, все уже написано, все документы найдены и откопаны». Единственными русскими, которые отнеслись ко мне без снисходительной улыбки, были директор и весь персонал московского РГА-ДА\*\* — я вспоминаю о них с огромной признательностью — компетентные, вежливые,

\* «Предисловие» написано Сереной Витале по-русски.

\*\* Российский Государственный архив древних актов.

готовые принести в читальный зал хоть 50 подшивок в день, щедрые, неалчные (поскольку я не могла позволить себе провести в архивах России долгие месяцы, я делала ксерокопии наиболее интересных материалов, и как-то раз в одном московском архиве у меня попросили 5 долларов за одну ксерокопию. Для многих русских «иностранец» или Крез или дурак, которого надо обобрать).

Я начала работать — одна. Работа велась мною в двух направлениях. С одной стороны, нужно было изучить и восстановить эпоху без идеологических шор: я прочитала и прокомментировала более 200 частных писем или дипломатических депеш (разумеется, большинство из них по-французски: сколько в них разговоров о Пушкине! Я имею в виду также архивы Москвы и Петербурга, в которых я нашла тысячи упоминаний о Пушкине. Только часть из них я смогла использовать в своей книге. А сколько можно еще всего открыть! Может быть, пришло время засучить рукава и взяться за работу?). Я остановилась только тогда, когда почувствовала запах эпохи, когда услышала мандельштамовский «шум времени». С другой стороны, нужно было восстановить недостающие куски уже искаженной временем мозаики.

В первую очередь необходимо было разрешить загадку Дантеса. Я тщательно изучила деятельность Дантеса после его отъезда из России, и только тогда я написала Клоду де Геккерену. Он принял меня очень гостеприимно, но к семейному архиву подпускать не хотел: слишком много неточностей и небывлиц было написано об этой истории, которой он сам занимался и о которой писал, но не закончил работы из-за незнания русского языка. Я убедила его в том, что моя цель только правда, какой бы она ни была, и в любом случае его джужба и рассказы были уже для меня неожиданным подарком.

В один из июньских дней 1989 года барон Клод де Геккерен долго, пристально на меня посмотрел, как бы пытаясь до конца убедиться в моих намерениях. О чем-то он, видимо, догадался, потому что сразу же после этого сказал: «Пойдемте, я вам кое-что покажу». Он снял с антресолей старый серый чемодан, из которого весьма беспорядочно вывалились самые разные документы. Среди них были письма, написанные Жоржем Дантесом Якобу ван Геккерену в 1835—1836 году, а также и другие ценнейшие документы (перечень этих документов приведен в моей книге). У меня не было времени прочитать все это там, в уже и так слишком гостеприимном доме, и, разумеется, барон не хотел, чтобы документы покинули стены дома: достаточно одного неосторожного жеста при ксерокопировании, и драгоценные листы могут быть повреждены. Мне пришлось попросить денег у моего издателя и купить переносную копировальную машину и грозящими руками снимать копии старинных листов. Я копировала все подряд, сама не зная, о чем там идет речь. Возвращаясь домой, я пыталась упорядочить материал, сделать первые предположения относительно дат. Но это мне не удавалось. Слишком сильно было волнение. И особенно я чувствовала на себе огромную ответственность: гумала о настоящих, серьезных русских ученых, которые работали до меня и у которых не было возможности приехать на Запад, — гумала об Анне Андреевне Ахматовой, которая должна была основываться на двух небольших отрывках, опубликованных с ошибками Труайя. Эта ответственность придавала мне смелости, но вместе с тем на меня давила.

Год мне понадобился для того, чтобы разобрать почерк Дантеса и его родственников, перепечатать и датировать документы. Копию упорядоченного таким образом архива я передала баронам де Геккерен. Пользуясь случаем, я хочу обратиться публично, также и от их имени, к исследователям, заинтересованным в этих документах: не все документы вошли в мою книгу, со временем они будут опубликованы, но комплект фотокопий этих документов находится у меня. И поэтому никто не должен обращаться к барону де Геккерену, который сегодня тяжело болен и имеет право на покой. Все необходимые пояснения готова дать я, но прошу от души не мешать ни этому чудесному человеку, ни его жене, которая заботится о нем с нежной самоотрешенностью.

Моя исследовательская работа продолжалась в архивах половины Европы, где мне помогли частные лица, которые даже сегодня свидетельствуют о том, что дворянство (эта старинная каста, которой так гордился Пушкин) является также категорией духа и мышления. Перечень архивов, общественных и личных, как и результаты этой моей работы находятся в моей книге (хоть и не полностью). Но настоящим и самым ценным результатом явилось другое открытие, что расстояние Петербург — Милан в тридцатых годах девятнадцатого века было меньше с точки зрения культуры и интеллекта, чем, например, Петербург — Рязань, и что Россия, та Россия, была полноценной частью сердца Европы.

Вот почему ошибаются, ужасно ошибаются те русские, которые с плохо скрытым шовинизмом утверждают: «Пушкин наш! Руки прочь от Пушкина!» Пушкин — это доказывает и работа в архивах Баварии или, скажем, в архивах Бергамо — был русским, то есть европейским писателем.

У меня есть еще много рассказов (некоторые из них даже смешные, и все пронизаны холодом, который мне пришлось переносить, потому что в замках архивы всегда хранятся в подземельях, а там не топят) о моей работе в европейских архивах, но я обещаю о них рассказать устно, если это будет кому-нибудь интересно, во время моей следующей поездки в Россию, где, надеюсь, меня наконец-то примут как «свою». Мой труд — я имею в виду труд физический — не дает ли мне наконец право на почетное (метафорическое, конечно) гражданство?

Но вернемся к письмам Дантеса, которые мое упорство спасло от забвения. Меняется ли с их появлением что-то в истории последней дуэли Пушкина? Я думаю, что да. Радикально, например, меняется роль, которую сыграл ван Геккерен в истории, которая предшествовала дуэли: мы узнаем, что именно Дантес просил приемного отца поговорить с любимой женщиной, от которой он не хотел отказаться. А это значит, что нидерландский посол не был тем темным режиссером, каким представляет его Пушкин в письме от 16—21 ноября 1836 года, где в духе XIX века он преподносит нам персонаж, достойный «Опасных связей». Еще я думаю, что будут раз и навсегда разрешены все сомнения по поводу чувств Дантеса, который — сейчас уже есть тому доказательства — был безумно влюблен в Наталию Николаевну Пушкину. Из писем вытекают тысячи других деталей, тысячи подробностей, маленьких и больших, о которых я уже написала и о которых у русских исследователей еще есть возможность написать.

Но что особенно взволновало меня во время расшифровки и работы над письмами, это Россия, увиденная глазами «убийцы Пушкина». Все те же имена, на каждой странице, которыми полны письма и дневники Пушкина, ибо нельзя забывать, что Дантес и Пушкин жили в одной среде, а не в разных городах или как две раздельные «партии», как часто заверяет нас русское литературоведение: они были даже через Мусиных-Пушкиных родственниками. Думаю еще, что эти письма должны читаться как несуществующая, но возможная глава романа Бальзака (как Дантес и ван Геккерен похожи на Растиньяка или Рюбампре и Вотрена!). И к тому же нельзя забывать, что дуэль между Пушкиным и Дантесом была также дуэлью между кристальной прозой восемнадцатого века и Бальзаком, «новой» французской литературой, которая не была принята Пушкиным до конца и которой он тайно боялся. И было чего бояться. Через 30 лет поумневшие, образованные и бедные деньгами, но богатые идеями, уже русифицированные, уже «раскольниковы», «дантесы» снова вернулись в Петербург и снова совершили убийство.

Серена Витале

# I

Петербург, 18 мая 1835 г.

Мой дорогой друг, вы не можете представить, какое удовольствие доставило мне ваше письмо и как вместе с тем успокоило, ибо я действительно страшно боялся, как бы от морской болезни у вас не сделались колики, а это было бы ужасно на корабле, где чувствуешь себя дома не больше, чем в театральном зале; но, благодарение Богу, все прошло прекрасно, и вы легко отделались, отдав свою дань, подобно всем мученикам. Мы были не столь удачливы в своем переходе, и наше возвращение явилось самой смешной и нелепой историей на свете. Вы помните, конечно, какая ужасная была погода, когда мы расстались. Так вот! Она стала еще хуже; непогода разыгралась, стоило нам выйти в открытый залив; так что хороши же мы были; во-первых, Брей<sup>1</sup>, который поначалу так важничал на большом судне, теперь не знал, какому святому молиться, и тотчас принялся возвращать в точности не только обед, съеденный на борту, но все предыдущие за прошлую неделю, сопровождая это восклицаниями на всех языках и вздохами на всех нотах; граф Лубинский<sup>2</sup> был вполне приличен в отношении опорожнения, но жалок умом, ибо не вполне отчетливо соображал; Барант<sup>3</sup> неподвижно лежал навзничь, без шинели, посреди палубы, но держал парус от Кронштадта до Петербурга. Над ним-то я не смеюсь, мне жаль его, ведь человек с его здоровьем, предающийся таким излишества, просто безумец; нет нужды называть вам героя экспедиции, вы уже догадываетесь! Да, Бобринский<sup>4</sup> был великолепен, спокойный и импозантный в опасности, ибо опасность была, по его утверждению, чрезвычайная. Он провел нас с такой сноровкой и умением, что мы за полтора часа дошли от горной школы до дома Клея<sup>5</sup>, столкнувшись по пути со всеми лодками; мы до того обозлили мужиков, что чуть бунта морского не вызвали на всех судах.

Мое письмо найдет вас уже устроенным, довольным и познакомившимся с папенькой Дантесом<sup>6</sup>. Мне чрезвычайно любопытно прочесть ваше следующее письмо, чтобы узнать, довольны ли вы выбором вод и обществом, там найденным. Как бы

все было по-иному, будь я не одинок, как сейчас, а с вами! Как был бы счастлив! Пустоту, которую обнажило ваше отсутствие, невозможно выразить словами. Я не могу найти для нее лучшего сравнения, чем с той, что вы, должно быть, чувствуете сами, ибо хоть порой вы и принимали меня, ворча, (я, конечно, имею в виду время важной депеши), я знал тем не менее, что вы рады немного поболтать; для вас, как и для меня, вошло в необходимость видаться в любое время дня. Приехав в Россию, я ожидал, что найду там только чужих людей, так что вы стали для меня провидением! Ибо друг, как вы говорите, — слово неточное, ведь друг не сделал бы для меня того, что сделали вы, еще меня не зная. Наконец, вы меня избаловали, я к этому привык, так скоро привыкаешь к счастью, а вдобавок — снисходительность, которой я никогда не нашел бы в отце. И что же, вдруг оказаться среди людей завистливых и ревнующих к моему положению, вот и представьте, как сильно я чувствую разницу и как мне приходится ежечасно осознавать, что вас больше здесь нет. Прощайте, дорогой друг. Лечитесь как следует, а развлекайтесь еще больше, и, я уверен, вы вернетесь к нам в добром здоровье и с таким самочувствием, что, точно в 20 лет, сможете жить в свое удовольствие, не беспокоясь ни о чем на свете. По крайней мере, таково мое пожелание, вы знаете, как я вас люблю, и от всей души, пока же целую вас так же, как люблю, то есть очень крепко.

Всецело преданный вам,  
Ж. Дантес

<sup>1</sup> Отто фон Брей-Штейнбург, граф (1807 — после 1871) — секретарь баварского посольства в Петербурге (июль 1833 — февраль 1836 и позднее), знакомый Пушкина, Карамзиных, Вильгельмских, автор воспоминаний, где идет речь и о последней дуэли поэта. В переводах фрагментов писем, опубликованных Анри Труайя, его имя не было правильно прочтено, печаталось как Бруг или Браг.

<sup>2</sup> Вероятно, граф Томаш (Фома Осипович) Лубинский (1785—1870) — сын Феликса-Владислава-Иосифа Лубинского, министра юстиции в Герцогстве Варшавском, камергера прусского двора, получившего графский титул в 1798 г. указом Фридриха-Вильгельма III. В России титул был утвержден только в 1844 г. Упоминается в «Дневнике» А. О. Смирновой-Россет в записи от 12 марта 1845 г. (А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 11).

<sup>3</sup> Возможно, барон Эмабль-Гийом де Барант (1785—1866), с декабря 1835 г. был французским послом при дворе Романовых; однако затруднительно подтвердить его присутствие в Петербурге (или его сына, которого Дантес также может упоминать) в этот период.

<sup>4</sup> Граф Алексей Алексеевич Бобринский (1800—1886) — отставной ротмистр, камер-юнкер, знакомый Пушкина.

<sup>5</sup> «...от горной школы до дома Клея...» — речь идет о преодолении сравнительно небольшого пути от Горного Корпуса на правом берегу Невы до дома английского купца Клея на левом берегу Невы по Английской набережной, неподалеку от дома гр. Бобринских, на паруснике которых совершился описанный переход. Современный адрес дома Клея — Английская наб., 70.

<sup>6</sup> Барон Жозеф Конрад Дантес (1773—1852) — кавалер ордена Почетного Легиона, отец Жоржа Дантеса, живший в своем доме в Сульце неподалеку от Страсбурга. Барон Геккерен приезжал к нему с переговорами об усыновлении Жоржа Дантеса.

## II

Павловск, 20 июня 1835 г.\*

Мой дорогой друг, как я счастлив: сию минуту получил я письмо сестры<sup>1</sup>, сообщающее, что вы приехали в Баден-Баден и, что мне много интереснее, что вы в совершенном здравии. Мой бедный старый отец в восторге. Итак, он пишет, что невозможно испытывать большую привязанность, чем вы ко мне, что вы ни на минуту не расстаетесь с моим портретом<sup>2</sup>. Благодарю, благодарю тысячу раз, мой дорогой, и мое единственное постоянное желание — чтобы вам никогда не довелось раскаться в своей доброте и жертвах, на которые вы себя обрекаете ради меня; я же надеюсь сделать карьеру, достаточно блестящую для того, чтобы это было лестно для вашего самолюбия, будучи убежден, что вам это будет наилучшим вознаграждением, коего жаждет ваше сердце.

Мой дорогой друг, у вас постоянные страхи о моем благополучии, совершенно необоснованные; перед отъездом вы дали мне достаточно, чтобы с честью и спокойно выпутаться из затруднений, особенно когда мы возвратимся в город. В лагере я и впрямь немного стеснен, но это всего на несколько месяцев, а как только вернусь в город, все будет прекрасно; да если в моей кассе и обнаружится недостаток во время

\* Между этим письмом и предыдущим существует еще одно.

маневров<sup>3</sup> (чего не думаю), уверяю, я тотчас вас предупрежу, так что ваше доброе сердце может быть спокойно: раз я ни о чем не прошу, следовательно, ни в чем не нуждаюсь. [...]

<sup>1</sup> Нанина Дантес, жившая у отца в Сульце.

<sup>2</sup> Вероятнее всего, речь идет о литографированном портрете Ж. Дантеса работы Бенара с оригинала неизвестного художника, на котором он представлен в кавалергардском мундире с кирасой в чине корнета (одна звездочка на эполетах), т. е. написанном не ранее февраля 1834 г., когда Ж. Дантес был произведен в этот чин; менее вероятно, что имеется в виду карандашный портрет работы Томаса Райта, профильный, в вицмундире, находящийся ныне в собрании Пушкинского Дома (С.-Петербург).

<sup>3</sup> Лейб-гвардии Кавалергардский полк перешел на летние квартиры в 1835 г. под Павловск в начале июня. Маневры гвардии традиционно проходили под Красным Селом, заканчиваясь праздником в Петергофе. Это требовало дополнительных расходов.

### III

Петербург, 14 июля 1835 г.

Мой дорогой друг, прежде всего попрошу прощения за то, что не вполне пунктуален, то есть *так кажется*; и все-таки у меня не было возможности написать раньше. С тех пор, как вы получили мое последнее письмо, нам не давали ни минуты отдыха, сейчас же, когда мы вернулись домой, а маневры закончились, я буду писать вам целые тома.

Вот уже два дня, как все позади; не буду говорить о том, что маневры были слишком долгими, так как это меня не *касается*; зато совершенно точно, что, если ваш Принц Нидерландский<sup>1</sup> любит маневры и парады, он может быть доволен, поскольку ему не дали их упустить: с 28 июня до 11 июля мы двух ночей не спали в одном и том же месте. Что до меня, я испортил свою вторую лошадь, она теперь на пастбище. Надеюсь, что она оттуда вернется. Однако, следует быть справедливым, ведь до сих пор я говорил вам только о плохой стороне наших маневров, а между тем мы находили в них удовольствие: празднества шли чередой, а Императрица была ко мне по-прежнему добра, ибо всякий раз, как приглашали из полка трех офицеров, я оказывался в их числе; и Император все так же оказывает мне благоволение. Как видите, мой добрейший, с этой стороны все осталось неизменным. Принц Нидерландский тоже весьма любезен, он при каждом удобном случае осведомляется о вас и спрашивает, улучшается ли ваше здоровье; можете вообразить, как я счастлив, когда могу сказать ему, что у вас все идет на лад, и вы совершенно поправитесь к будущему году, ведь так считает и Задлер<sup>2</sup>, коему я постоянно надоедаю с вопросами о вас. Он уверил меня, раз тамошние врачи прописывают вам лечение виноградом — это лучшее доказательство полного восстановления вашего здоровья. Представляю, какая радость была в Сульце, когда там узнали, что вы приедете на две недели, а если, ненароком, вам и случится там поскучать, заранее прошу вашей снисходительности. Они так захотят вас развлечь, что в конце концов наскучат. Да может ли быть по-иному, разве вы не благодетель для них всех; ведь в наше время <трудно> найти в чужестранце человека, который готов отдать свое имя, свое состояние, а взамен просит лишь дружбы; дорогой мой, надо быть вами и иметь такую благородную душу, как ваша, для того, чтобы благо других составило ваше собственное счастье; повторяю то, что уже не раз вам говорил — мне легко будет стремление всегда вас радовать, ибо я не дожидался от вас этого последнего свидетельства, чтобы обещать вам дружбу, которая закончится только со мною: все, что я здесь говорю — не просто фразы, как вы меня упрекали в последнем письме; раз уж мне невозможно иначе выразить все, что я чувствую, вам придется покориться и читать об этом, ежели вы хотите узнать всю мою душу. <...>

Едва не забыл попенять вам: когда врачи заставили вас уехать из Петербурга, они хотели, чтобы вы не только сменили климат, но и отошли от дел и дали отдых уму; теперь же, судя по вашему письму, я вижу, как споро у вас работает воображение, и уверен — вы строите бесконечные прожекты, а с вашим характером это должно быть утомительно. Посему будьте же спокойны, мой драгоценный друг, поправляйте хорошенько здоровье, и тогда нам останется больше, чем нужно, чтобы уехать и устроиться вместе там, где для вас будет наилучший климат, и будьте уверены, что мы повсюду будем счастливы, ведь вы заслуживаете этого во всех отношениях. [...]

<sup>1</sup> Вильгельм, принц Оранский, с 1840 г. Вильгельм II, король Нидерландский (1792—1849); уже в 1830-е годы в виду болезни отца он фактически управлял Нидерландами. Ему адресовано известное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина, Геккерен-старший ему же адресует свое прошение о длительном отпуске в феврале 1837 г. Принц Вильгельм был

женат на сестре Николая I Великой княжне Анне Павловне. К этому бракосочетанию, состоявшемуся в Павловске 6 июня 1816 г., Пушкиным написано стихотворение «Принцу Оранскому».

<sup>2</sup> Карл Карлович Задлер (1801—1877) — доктор медицины, один из врачей, оказывавших помощь Пушкину, раненому на дуэли.

#### IV

Петербург, 2 августа 1835 г.

[...]Я все забывал рассказать вам подробнее о жизни Жюли<sup>1</sup> в Петербурге, а она ведь должна вас интересовать, ибо вы один из давних ее обожателей: одного потеряешь, 100 найдешь, так как ваш отъезд не оставил пустоты в ее сердце; с самого приезда дом ее стал поистине казармой, поскольку все офицеры полка проводили там вечера, и можете вообразить, что там творилось; и все же нравственность соблюдалась, так как знающие особы утверждают, что у нее рак матки. Однако Император, который не входил во все эти подробности и ежедневно получал рапорты о том, что офицеры, вместо того чтобы быть в лагере, проводят все свое время на большой дороге, разгневался и через генерала<sup>2</sup> выразил свое неудовольствие. Меж тем, к несчастью, наступил день рождения Жюли, у себя в имении<sup>3</sup> она устроила роскошный праздник своим крестьянам; как вы догадываетесь, там безумствовали; я не был, а злые языки рассказывают невероятные вещи, но я знаю, что это ложь. Например, будто она заставила крестьянок залезать на столбы, а когда эти бабы оттуда падали, крикам и веселью не было конца, или будто она приказала устроить для крестьянок скачки, и бабы ездили верхом без панталон и без седел, словом, все шутки в том же духе. Самое же неприятное, что, возвращаясь, Александр Трубецкой<sup>4</sup> сломал и вывихнул руку. Естественно, Императору стали известны все эти слухи и перелом руки Александра; так что на следующий день, на балу у Демидова<sup>5</sup>, он был в гневе и сказал нашему генералу в присутствии сорока лиц: «Если офицеры твоего полка все будут заниматься глупостями, они будут довольны только когда я отошлю полдюжины в армию; ну а эта баба, — говоря о Жюли, — успокоится лишь когда я прикажу выгнать ее с полицией, ей ведь не хватает только оказаться у генерал-губернатора в списке публичных девок».

Можете представить, какой эффект это произвело во всех гостиных. Литта<sup>6</sup> тотчас же стал просить для нее позволения уехать в Италию, но Император поначалу воспротивился и хотел приказать ей отправляться в провинцию; однако она так плакала у Бенкендорфа<sup>7</sup>, а Литта так за нее ручался, что Император позволил ей уехать, что она и сделает через полтора месяца. Что до меня, я этим расстроен, она ведь очень приятная особа, и я, хоть и не бывал у нее, часто с нею виделся; скажу вам, что я почел за лучшее не бывать там, раз Император так решительно объявил себя противником тех, кто запросто ходил в этот дом.

Сию минуту слуга привез мне из города ваше письмо, датированное 30 июля. Оказывается, Геверс<sup>8</sup> получил его еще пять дней назад; право же, его превосходительство после приезда Принца совершенно потерял голову и только думает, как бы сбежать в Петергоф. Ведь и последнее ваше письмо он тоже продержал 3 дня. Будьте покойны — вернется, и я возьмусь его прочесть. <...>

<sup>1</sup> Графиня Юлия Павловна Самойлова, урожденная гр. Пален (1803—1875) — жена гр. Н. А. Самойлова, знакомого Пушкина, во втором браке Пери, в третьем гр. де Морне, одна из самых экстравагантных представительниц петербургского света.

<sup>2</sup> Барон Родион Егорович Гринвальд (1797—1877) — генерал-майор, командир Лейб-гвардии Кавалергардского полка.

<sup>3</sup> Имение графини Самойловой — Графская (с 1850 г. «Царская») Славянка расположено под Павловском на большой дороге старого Киевского тракта. Ездившие осматривать ее имение в том же 1835 г. родители Пушкина остались от него в восхищении. С. А. Пушкин писал дочери 12 июля 1835 г.: «Это сокровище: невозможно представить себе ничего более элегантного в смысле мебели и всевозможных украшений. Архитектором и декоратором является Брюллов. Все ходят смотреть это, точно в Эрмитаж». (См.: Письма С. А. и Н. О. Пушкиных к их дочери О. С. Павлищевой. 1825—1835. СПб., 1993. С. 290.)

<sup>4</sup> Князь Александр Васильевич Трубецкой (1813—1889) — однопольчанин Дантеса, штаб-ротмистр, знакомый Пушкина, автор «Рассказа об отношении Пушкина к Дантесу».

<sup>5</sup> Павел Николаевич Демидов (1798—1840) — егермейстер, заводчик, богатый меценат. 17 июля 1835 года он дал грандиозный праздник, на котором присутствовал император; Пушкин также был его участником. Накануне же, 16 июля, отмечались Ю. П. Самойловой ее именины, а не день рождения, как пишет Дантес. На этот день приходится поминовение мученицы Иулии девы, в честь которой была крещена графиня Юлия (полное имя Иулия) Самойлова. Таким образом датируются события, описанные Дантесом.

<sup>6</sup> Граф Юлий Помпеевич Литта (1763—1839) — обер-камергер двора, член Государственного Совета. Ему по придворной службе был подчинен в числе других и Пушкин, за которого он порою также заступался.

<sup>7</sup> Граф Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844) — генерал-адъютант, шеф жандармов, начальник III отделения Его Императорского Величества канцелярии.

<sup>8</sup> Барон Геверс — секретарь посольства Нидерландов, поверенный в делах на время отсутствия Геккерена; сменил последнего в 1837 г.

## V

[Петербург, 2 августа 1835]<sup>1</sup>

Невзирая на ваш запрет, я все-таки начну письмо с благодарности за еще один знак вашей доброты; желать единственно того, чтобы я не страдал от собственных глупостей, значит доводить снисхождение до крайности. Но, мой дорогой друг, зачем же входить в затруднение и платить сейчас, когда вы стеснены в средствах. Вексель был сделан на 18 месяцев, Стефани<sup>2</sup> должен был сказать вам об этом, так что у вас вполне хватило бы времени покончить с этим делом. Я был уверен, что Стефани вам придется по душе, он человек превосходный, а ваша мысль обосноваться в окрестностях Фрейбурга<sup>3</sup> чудесна. Ведь, по вашим словам, мы бы оказались в семье, поскольку вы теперь тоже в нее входите. Затем, это рядом с Францией, местность великолепная; вам следовало бы воспользоваться посещением Сульца, чтобы съездить взглянуть на нее, это 10-часовое путешествие. Да и жизнь там невероятно дешева, почти задаром, но, как я уже сказал, совершенно необходимо съездить туда и посмотреть, придется ли вам эта местность по вкусу, тем более, что, уверяю, в Сульце у вас не будет развлечений — это, в сущности, гнусная дыра. И еще забыл сказать, что у отца очень большое имение в 3 часах пути от Фрейбурга, на берегу Рейна, так что, возможно, будет не очень трудно найти поместье, граничащее с землями отца. Право, это восхитительная идея, а коли вы теперь любите и моего брата, мы сможем объединиться и жить почти все вместе и заботиться о вас в свое удовольствие. Я получил письмо от Альфонса<sup>4</sup> и могу вас уверить, что победа его над вами взаимна, и не знай я, что он хороший брат, решил бы, что он почти завидует моей участи.

Приехал с женою граф Лерхенфельд<sup>5</sup>. Он выглядит точно с того света, а говорит еще тише обычного; его целомудренная половина не заслуживает восхитительного портрета, сделанного Бреем. Это маленькая женщина, почти брюнетка, весьма незначительная, одевается очень плохо и без всякого вкуса, отчего она не будет блистать в Петербурге, где женщины одеваются так хорошо.

Вы весьма удивитесь, узнав о кончине бедной княгини Гагариной-Бобонн<sup>6</sup>. Сегодня ее похоронили. Несчастная эта женщина окончила жизнь очень тяжело и неожиданно, она задохнулась за несколько часов, когда же вскрыли тело, все оно было изъедено гангреной.

Среди не столь грустных новостей сообщу, что Марченко<sup>7</sup> женится на малютке Убри<sup>8</sup>, причем весь свет, и мамаша в особенности, начинает находить, что барышня составляет очень недурную партию. Сегодня же было объявлено и о помолвке Бутурлина, офицера нашего полка, с младшей графиней Сухтелен, фрейлиной<sup>9</sup>. Наконец, в прошлое воскресенье совершилось заклание Лизоньки Щербатовой и Бутурлина Рыжего<sup>10</sup>, причем те, кто был на свадьбе, рассказывают, что молодая жена очень веселилась и много смеялась в самый день свадьбы и назавтра выглядела так, точно ничуть не тронута великим шагом, только что ею сделанным в мир. Хорошенький же головной убор это сулит мужу. [...]

<sup>1</sup> Письмо датируется на основании упоминаемых в тексте похорон княгини Гагариной. Оно частично отвечает на письмо Геккерена от 30 июля (18 июля по русскому календарю). Дантес должен был отправить его вместе с предыдущим, датированным сначала 30 июля.

<sup>2</sup> Стефан Бальи — поверенный отца Дантеса в Сульце, пересылавший по его поручению деньги сыну в Петербург. Вексель, о котором пишет Дантес, явился, судя по всему, обязательством за сумму, одолженную на экипировку при поступлении в гвардию. Срок векселя истек, вероятно, в сентябре-октябре 1835 года.

<sup>3</sup> Фрейбург — старинный университетский город в Германии в 20 км от французской границы, в 35 км от французского города Кольмара, где родился Дантес, и примерно в 100 км от Сульца.

<sup>4</sup> Барон Альфонс Лотар Дантес (1813—1884) — младший брат Ж. Дантеса, учившийся в Страсбурге. Проводил летние каникулы в Сульце, где и познакомился с гостившим там Геккереном.

<sup>5</sup> Граф Максимилиан фон Лерхенфельд-Коферинг (1779—1843) — баварский посланник в Петербурге (1833—1838).

<sup>6</sup> Кн. Мария Алексеевна Гагарина, урожденная гр. Бобринская, скончалась 30 июля 1835 года в возрасте 37 лет. «Бобонн» может быть шутивым ласковым прозвищем, связанным созвучием с «Бобринская».

<sup>7</sup> Василий Романович Марченко (1782—1841) — действительный тайный советник, статс-секретарь, управляющий делами комитета министров, член Государственного Совета.

<sup>8</sup> Екатерина Петровна Убри (181?—1900) — старшая дочь Петра Яковлевича Убриля (Убри, 1774—1847), голландца по происхождению, бывшего директора Коллегии Иностранных дел (был начальником Пушкина в 1817—20 гг.), позднее посла России во Франкфурте.

<sup>9</sup> Алексей Петрович Бутурлин (1802—1853) — флигель-адъютант, ротмистр Кавалергардского полка, позднее генерал-лейтенант, с 1835 г. муж графини Ольги Павловны Сухтелен.

<sup>10</sup> Николай Александрович Бутурлин (прозвище «Рыжий» по цвету волос) (1801—1867) — полковник при военном министерстве, позднее генерал-лейтенант. В воскресенье 28 июля 1835 г. он обвенчался с княжной Елизаветой Сергеевной Щербатовой.

## VI

Петербург, 11 августа 1835 г.

Я, право же, не знаю, с чем это связано, но на нашей переписке словно зачатие лежит, ибо никогда, мой друг, я не заслуживал менее вашего упрека в том, что не спешу вас обрадовать, как вы любезно говорите; кроме письма, которое Брей не знаю сколько продержал в кармане, я отправил вам еще два в Ла Эй<sup>1</sup>. Как видите, в этом я чист, как снег; говорю об этом не к тому, чтобы считаться с вами письмами, но мне было бы горько думать, что вы полагаете, будто мне приходится принуждать себя писать вам, и я отсюда слышу, как вы говорите: это славный мальчик, я знаю, что он меня любит, но писать мне он ужасно ленится. Бог мне свидетель, что для меня нет большего удовольствия, чем писать вам, говорить с вами о вас, о себе, наконец, обо всем, что нам одинаково интересно, но порой мои письма так коротки, что мне совестно их отсылать, тогда я ожидаю, пока не узнаю для вас каких-нибудь пересудов о добрых жителях Петербурга, чтобы немного вас позабавить.

Итак, вот вы и в Сульце. Как они должны быть счастливы вас заполучить, если же вы там скучаете, чего боюсь, то подумайте, как они довольны, и я знаю, что этого вам будет достаточно, чтобы задержаться как можно дольше. С каким же любопытством я жду от вас первого письма! Как мне не терпится узнать все подробности о первых днях, проведенных среди моих родных, которые любят вас почти так же, как я, если бы это было возможно. Да и могло ли быть по-иному: отовсюду первая ваша мысль обращена ко мне, обычно вы всякий раз пишете пару строк о себе, а все остальное — беспокойство и хлопоты обо мне. Итак, вам не позволяют отдать мне свое состояние, пока вам не исполнится 50 лет<sup>2</sup>. Вот уж большая беда: закон прав, к чему мне расписки, и бумаги, и документальные заверения, у меня есть ваша дружба, и, надеюсь, она продлится до той поры, когда вам исполнится пятьдесят, а это дороже, чем все бумаги в мире. К тому же, говорят, что холера в Италии уже почти исчезла, может быть, вы поедете туда, глаза там очень большие и очень черные, а сердце у вас чувствительное, так что...

[окончание письма отсутствует]

<sup>1</sup> Ла Эй — город в Голландии (Гаага).

<sup>2</sup> В описываемое время Геккерену 43 года: род. 30.XI.1791, ум. 27.IX.1884.

## VII

Петербург, 18 августа 1835 г.

[...] Я наконец познакомился с госпожой графиней Лерхенфельд<sup>1</sup>, она такова, какой я ее описывал вам в последних письмах, ни слова не надо менять; но он восхитителен, вы не можете себе вообразить этого человека в домашнем кругу, и по меньшей мере столь же скучен, как и раньше, и много скупее. Впрочем, вот один из последних его поступков: вознамерившись показать жене Петергоф, он приглашает Кутузова<sup>2</sup> и заместителя вашего друга Декенфельда<sup>3</sup> поехать с ними и предлагает устроить этаким пикник, говоря, будто иначе их заставят платить бешенные деньги за прескверный обед. Он поручает Кутузову взять лафит (2 бутылки) и две бутылки шампанского, что обошлось рублей в 50; сам он должен был позаботиться об остальном. И что же, он оказался до того скареден, что назавтра привез всего лишь кусок старой говядины, что подавали у него накануне, хлеба и горчицы. Двум другим господам так было неловко за него, что они за собственный счет заказали в трактире

обед, который господин граф Лерхенфельд, министр Баварского короля, съел, не спросив, откуда он взялся; словом, неприятно рассказывать. Что до своих обязанностей мужа, я убежден, он исполняет их весьма скверно, причем ему достало духу самому мне в этом признаться; недавно, рассказывая о развлечениях в своем добром Мюнхене и сравнивая их с петербургскими, он сказал: «Как видите, мой дорогой, у меня дома развлечения редки, но зато хороши. Не то что здесь, где они идут чередой, так что невозможно ими насладиться. Это как у женатого мужчины: как бы молода и красива ни была жена, *постоянно облегчаться невозможно*». И эта мысль ему так понравилась, что он повторил ее раз десять кряду; не правда ли, наивное признание. [...]

Как неприятно, что в Италии свирепствует холера, но нужно надеяться, и я почти уверен, что она не захватит всю страну, и вы найдете уголок, где сможете полечиться. Вы знаете, как бы я обрадовался, если б вы возвратились, но вчера я еще раз говорил с Задлером о вашем намерении приехать сюда и спрашивал, можно ли это; он сказал, что ни под каким видом вам не следует возвращаться раньше, чем через год, если вы хотите совершенно выздороветь. В противном случае, добавил он, климат России убьет вас; так что смотрите, позволю ли я вам приехать после подобного заверения: советую не ехать в Италию, раз угроза не вполне исчезла, ведь она вас не любит и, к несчастью, уже доказала это однажды, но отправляйтесь на зиму в Вену или Париж, а весной вернетесь большим и толстым.

Это письмо должен доставить вам Брей. Бог весть, когда оно придет; вот уж 8 дней он откладывает отъезд со дня на день, он не может решиться расстаться с нами.

Прощайте, мой добрейший, обнимаю вас от всей души.

Совершенно преданный вам,  
Дантес.

<sup>1</sup> Жена баварского посла.

<sup>2</sup> Граф Василий Павлович Голенищев-Кутузов (1803—1870), однополчанин Дантеса, позднее генерал-майор.

<sup>3</sup> Лицо неустановленное. Вероятно, кто-то из дипломатов.

## VIII

[Петербург.] 1 сентября 1835 г.

Дорогой мой, вы большое дитя. К чему настаивать, чтобы я говорил вам «ты», точно это слово может придать большую ценность мысли и когда я говорю «я вас люблю» — я менее чистосердечен, чем если бы сказал «я тебя люблю». К тому же, видите ли, мне пришлось бы отвыкать от этого в свете, ведь там вы занимаете такое место, что молодому человеку вроде меня не подобает быть бесцеремонным. Правда, вы сами — совсем другое дело. Уже довольно давно я просил об этом, такое обращение от вас ко мне — прекрасно; впрочем, это не более чем мои обычные рассуждения; безусловно, не мне жеманиться перед вами, Господь мне свидетель.[..]

В нашем полку новые приключения. Бог весть, как все окончится на сей раз. На днях Сергей Трубецкой<sup>1</sup> с еще двумя моими товарищами, после более чем обильного ужина в загородном ресторане, на обратном пути принялись разбивать все фасады придорожных домов; вообразите, что за шум случился назавтра. Владельцы пришли с жалобой к графу Чернышеву<sup>2</sup>, а он приказал поместить этих господ в кордегардию и отправил рапорт Его Величеству в Калугу. Это одно. А вот, и другое: на днях, во время представления в Александринском театре, из ложи, где были офицеры нашего полка, бросили набитый бумажками гонодон в актрису, имевшую несчастье не понравиться. Представьте, какую суматоху это вызвало в спектакле. Так что Императору отослали второй рапорт; и если Император вспомнит свои слова перед отъездом, что, случись в полку малейший скандал, он переведет виновных в армию, то я, конечно, не хотел бы оказаться на их месте, ведь эти бедняги разрушат свою карьеру, и все из-за шуток, которые ни смешны, ни умны, да и сама игра не стоила свеч.

Коль скоро я заговорил о театре, надо войти и за кулисы и рассказать, что нового произошло после вашего отъезда. Между красавчиком Полем<sup>3</sup> и Лаферьером<sup>4</sup> — война насмерть! и все из-за пощечины, полученной последним от первого; зеваки рассказывают, что они ревнуют друг друга из-за любви старухи Истоминой<sup>5</sup>, поскольку считается, что она хочет уйти от Поля к Лаферьеру. Другие рассказывают, что Поль застал Лаферьера у окна подсматривающим в щелку, как он, Поль, завоевывает благосклонность у своих возлюбленных. Коротко говоря, как я и писал, за этим последовала пара оплеух, и Лаферьера с огромным трудом заставили продолжать представление, ибо он полагает, что человек его ранга может предстать перед публикой, только омывшись кровью врага.

История бедного Верне<sup>6</sup> представляется гораздо неприятнее. Все его старые грехи в него вцепились: и куда? Несчастный все получил на кончик носа, так что врачи сказали, что он его потеряет. Уверяю, мне жаль беднягу, ведь потеряет он весьма ценный предмет, а мы — актера, который иногда нас забавлял.

Бедная моя Супруга<sup>7</sup> в сильнейшем отчаянье, несчастная несколько дней назад потеряла одного ребенка, и ей еще грозит потеря второго; для матери это поистине ужасно, я же, при самых лучших намерениях, не смогу заменить их. Это доказано опытом всего прошлого года. [...]

<sup>1</sup> Кн. Сергей Васильевич Трубецкой (1815—1859) — однопольчанин Дантеса, брат кн. А. В. Трубецкого. После описанных Дантесом происшествий был долго в опале. 27 октября 1835 г. был переведен в Орденский кирасирский полк, служил затем на Кавказе, где близко сошелся с М. Ю. Лермонтовым. На последней его дуэли с Мартыновым был негласным секундантом поэта.

<sup>2</sup> Граф Александр Иванович Чернышев (1786—1857) — военный министр.

<sup>3</sup> Поль Минье — комедийный актер французской труппы на сцене Михайловского театра. В основном играл в водевилях. Его амплуа — первые любовники.

<sup>4</sup> Адольф Лаферьер — актер той же труппы.

<sup>5</sup> Евдокия Ильинична Истомина (1799—1848) — знаменитая петербургская балерина, воспитанная Пушкиным.

<sup>6</sup> Виктор Верне (1797—1873) — знаменитый комедийный актер, с неизменным успехом игравший на петербургской сцене с 1829 по 1870 год.

<sup>7</sup> Имя этой женщины, бывшей, по всей видимости, в продолжительной любовной связи с Дантесом, установить пока не удалось.

## IX

[без даты]\*

[...] Самым главным было получить от Короля позволение на то, чтобы дать мне ваше имя, а поскольку вы ведь никогда его ни о чем не просили, он окажет вам эту милость тем более, что за свою службу вы довольствуетесь вознаграждением, которое ему ничего не стоит, а ведь редко найдешь власть предрежащих, пусть даже государей, которые не любят такой ценой платить за службу.

Вчера состоялась свадьба нашего друга Марченко<sup>1</sup>, венчание было в Мальтийской церкви<sup>2</sup>. Его жена католического вероисповедания<sup>3</sup>. Посмотреть церемонию собралась толпа; что до новобрачного, он сыграл неудачно, так как в самый патетический момент обряда у него достало таланта вызвать общий хохот. Не знаю, известна ли вам церемония венчания, но обычно священник произносит слова, а вы их повторяете, и начинает с вашего христианского имени, а Марченко, к несчастью, зовут Жан. Вы увидите, к какому недоразумению это привело. Когда священник сказал: «Я, Жан, беру в жены...», то он, не дав договорить, продолжил так громко и твердо, что привел в отчаяние своих товарищей: «Я, жантильом палаты Его Величества, Императора всея Руси и Короля Польского, клянусь...»<sup>4</sup>. Наконец священнику удалось с большим трудом его остановить и объяснить, что он ошибается, что требуются не титулы и чины, а просто его христианское имя, и заставил начать снова. Как вы и полагаете, в городе об этом заговорили в тот же вечер во всех салонах, а злые языки уверяли, что с его стороны было весьма деликатно с первого же дня показать себя жене таким, каким ей всегда придется его видеть, а именно глупым и тщеславным. Только добрая Элиза<sup>5</sup> (говорящая в нос более обычного) встала на его защиту и объявила, что человек с сердцем столь чувствительным, как Марченко, и способный так сильно поддаваться впечатлениям, в подобных обстоятельствах вполне естественно мог потерять голову. Она-то свою никогда не теряет, она возвратилась из паломничества такого же, какое Император совершил в прошлый год, — к Святому<sup>6</sup>. Как видите, она никогда ничего не забывает, чтобы сохранить благоволение своего Правителя; и, право же, когда наблюдаешь за этой женщиной и видишь, что она не может совершить ничего, в чем не было бы честолюбивого умысла и интриги, начинаешь находить это возмутительным.

Бедняга Платонов<sup>7</sup> вот уж три недели в состоянии, внушающем беспокойство, он так влюблен в княжну Б...<sup>8</sup>, что заперся у себя и никого не хочет видеть, даже родных. Ни брату<sup>9</sup>, ни сестре не открывает двери. Предлогом служит тяжкая болезнь: такое поведение удивляет меня в умном молодом человеке, ибо он влюблен так, как нам представляют героев в романах. Последних я вполне понимаю, ведь надобно же что-то

\* Между этим письмом и предыдущим существует еще одно.

придумывать, чем заполнить страницы, но для человека здравомыслящего это крайняя нелепость. Надеюсь, что скоро он покончит со своими безумствами и вернется к нам, ибо мне весьма его недостает.

Как видите, мой дорогой, на севере кровь чрезмерно горяча, и тот, кто приезжает туда уже таким, в этом климате ничего не теряет. Вы сможете судить об этом по следующей истории. Прекрасный Поль получил отпуск на 28 дней, чтобы отправиться на поиски похитителя сердца Истоминой и, перерезав ему горло, перерезать себе; по крайней мере, так он говорит. Оказывается, соблазнителем был вовсе не ваш близкий друг Лаферьер, как я писал раньше, но пощечины Поля достались как раз ему. К тому же выясняется, что Лаферьер изменил ему со своим приятелем, недавно приехавшим из Парижа. А вот и еще история. После этого приключения Лаферьер отказался играть в «Жребии»<sup>10</sup>, если Гедеонов<sup>11</sup> не получит от Поля письма о том, что тот не давал ему пощечин; сами понимаете, когда начальник просит, он легко получает, так что Поль обнародовал и издал преглупое письмо, которое разносили по домам вместе с афишами. Я в отчаянии, что потерял свое, я переписал бы для вас самые умные пассажи, чтобы дать представление о других.

<sup>1</sup> В.Р. Марченко. См. о нем письмо V, прим. 7.

<sup>2</sup> Мальтийская церковь — католическая капелла мальтийского ордена, построенная в 1798—1800 гг. архитектором Д. Кваренги в помещении Пажеского корпуса (б. Воронцовского дворца).

<sup>3</sup> Е.П. Убри. См. о ней письмо V, прим. 8.

<sup>4</sup> Марченко звали Василий, т. е. по-французски — Базиль. Священник произнес его имя, Марченко же услышал — «жантильом», т. е. «дворянин».

<sup>5</sup> Елизавета Михайловна Хитрово (1783—1839) — дочь М.И. Голенищева-Кутузова, близкий друг Пушкина.

<sup>6</sup> Святой Митрофан, епископ Воронежский во времена Петра Великого. Его мощи были обретены в 1832 г. в Воронеже, ставшем местом паломничества. День его поминовения <sup>7</sup> августа по старому стилю.

<sup>7</sup> Валерьян Платонович Платонов — внебрачный сын кн. П.А. Зубова.

<sup>8</sup> Кн. Елена Павловна Белосельская-Белозерская, урожденная Бибикова (1812—1888) — падчерица гр. А.Х. Бенкендорфа. А.О. Смирнова-Россет вспоминала: «Свет занялся свадьбой Елены Бибиковой, которая была маленького роста...» О «бедном Платонове» она пишет: «Этот наивный господин вздумал любить ее чистой юношеской первой любовью; она его спровадила, упрекнув, что un bâtard [незаконнорожденный] не смеет и думать о ней. Платонов перенес свою любовь на меня и в Бадене поверял мне прошлое горе; особенно страдал он от неправильного рождения. Он был сын какой-то польской графини и князя Зубова. Платонов был умен и очень образован». (А.О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 194).

<sup>9</sup> Старший брат В.П. Платонова — однопольчанин Дантеса Александр Платонович Платонов (1806—1894).

<sup>10</sup> «La courte de paille» — водевиль в трех актах, с большим успехом шедший на сцене Михайловского театра в сезон 1835—1836 годов. Первая постановка состоялась еще 25 сентября 1834 г. В сентябре—октябре 1835 г. водевиль играли и на гастролях в Москве.

<sup>11</sup> Александр Михайлович Гедеонов (1791—1867) — действительный тайный советник, директор императорских театров.

## Х

Петербург, 26 ноября 1835 г.\*

Хоть у меня и легкий эпистолярный стиль (по крайней мере, как считаешь ты), признаюсь откровенно, последнее твое письмо ставит мой талант в тупик и подтверждает мое полнейшее ничтожество. Как, мой дорогой, найти слова для ответа на письма, которые постоянно начинаются с подарков, а оканчиваются требованиями принять новые благодеяния. Этому нет названия — я не благодарю тебя, я не знаю, как выразить все, внушенное моей признательностью. Надо бы, чтоб ты был рядом, чтобы я мог много раз поцеловать тебя и прижать к сердцу надолго и крепко — тогда ты почувствовал бы, что оно бьется для тебя столь же сильно, как сильна моя любовь; знаешь ли, что ты делаешь меня богаче себя, и, что ты ни говори, ты, конечно, вошел в затруднение ради меня. Посему будь спокоен, я не злоупотреблю твоим великодушием и возьму лишь необходимое для достойного существования, как ты того хочешь. Из всего подаренного тобою с последним письмом самое для меня приятное — это разрешение пользоваться твоим экипажем; без этого мне пришлось бы отказаться от выездов в свет этой зимою, так как она уж очень сурова, а здоровье мое ежеминутно

\* Между этим письмом и предыдущим существует еще одно.

предупреждает, что с климатом шутить не следует, малейшая неосторожность сваливает меня с ног на несколько дней.

Если бы ты знал, как меня радуют все подробности о покупке земли, с чем ты, вероятно, теперь покончил; ведь я всегда мечтал, чтобы ты обосновался в этой стране<sup>1</sup>. Раньше я всегда остерегался говорить об этом откровенно, ибо, зная, как ты добр, я мог бы оказать на тебя влияние, чего мне бы не хотелось, ведь стоило положиться на твой вкус и опыт, ибо я убежден, что мне всегда будет от этого лучше. Однако, если покупка еще не состоялась, советую быть очень внимательным, ведь немцы не всегда так глупы, как кажутся, а ты должен непременно извлечь из этого выгоду, особенно если платишь наличными, а такие любители весьма редки в этой стране, где деньги на улицах не валяются. Я также говорил обиняком Клейну<sup>2</sup> о твоём намерении купить землю где-нибудь в Германии; по его словам, это было бы в высшей степени благоразумно, принимая во внимание, что держать деньги в портфеле выгодно только торговцам, поскольку это позволяет очень легко и намного увеличить прибыль и иногда компенсирует риск, с которым это связано; для того же, кто просто так держит деньги при себе, этой выгоды уже нет.

В городе сейчас только и разговоров, что о грандиозном празднике, устроенном Монферраном<sup>3</sup> в честь его женитьбы несколько дней назад на этой старой шляхе Лиз<sup>4</sup>. Я был там и уверяю, что когда видишь, как подобные люди принимают и как живут, чувствуешь себя рядом с ними просто чернью. Считают, что он потратил 1500 рублей, а добрую часть из них уплатил Демидов<sup>5</sup>. Впрочем, праздник завершился весьма трагическим образом: несчастная Буане-Вевель<sup>6</sup>, уезжая оттуда, простудилась и скончалась за сутки. Кроме того, в день свадьбы он составил завещание, по которому после смерти оставляет все свое состояние вдове, да еще надеется, что Император согласится платить ей пенсию за всю его службу России, а как особой милости просит, чтобы его похоронили в Исаакиевской церкви: по этому поводу я сказал и повторяю для тебя, ибо так и думаю, что это неплохо, что он как те индейцы, что, умирая, обычно просят отнести их в хлев, чтобы ухватиться за хвост своей коровы — имущества, приносившего при жизни самый большой доход.

Я все забывал рассказать вам о младшей Хрептович<sup>7</sup>, вернувшейся с вод уродливой, чем когда бы то ни было, и невероятно растолстевшей. Особенно руки у нее толсты до неприличия, прямо как ляжки. Она много рассказывала мне о брате Альфонсе<sup>8</sup>, которого находит весьма интересным внешне, но — сказала она с обиженной гримаской — он не попросил, чтобы его ей представили. Еще хотел бы я знать, отчего во всех письмах из Сульца ты постоянно рассказываешь о сестрах и никогда о брате. А я был бы рад узнать твое мнение о нем, ибо почти не знаю его характера, поскольку с 15-летнего возраста мы росли отдельно.

Ваша история с Фердинандом<sup>9</sup> весьма меня позабавила, видно он все такая же скотина, и я никогда не понимал, почему ему отдали руку сестры, — горе молоденькой! Вдруг он сделался очень обидчив, а ведь я помню время, когда он первый подпучивал над своей ужасной внешностью. Я хотел бы знать, приезжал ли при тебе в Сульц родственник моей матери<sup>10</sup>. Это прелестный малый, и у него прехорошенькая жenuшка: уверен, оба тебе понравятся. Передай от меня множество дружеских пожеланий всему семейству во главе с папенькой, ну, а тебе скажу только, что я не благодарен.

Ж. Дантес

[на полях первого листа:]

Я послал для тебя письмо в большом письме, отправленном отцу, отчего же ты не говоришь о нем в твоём последнем письме из Фрейбурга?

[на полях 3-го листа:]

Тысяча извинений, мой драгоценный, что в письме моем столько помарок, но я всегда пишу так, как беседовал бы с тобою у камина и не могу решиться писать с черновиков, это было бы слишком претенциозно, и я не был бы принужден.

[на полях 4-го листа:]

Едва не забыл сказать, что разрываю отношения со своей Супругой и надеюсь, что в следующем письме сообщу тебе об окончании моего романа.

<sup>1</sup> Т.е. в Германии под Фрейбургом, неподалеку от французской границы, близко от Сульца.

<sup>2</sup> Вероятно, поверенный Геккерена в Петербурге.

<sup>3</sup> Огюст Монферран (настоящая фамилия Рикар, 1786—1858) — французский архитектор, с 1816 г. работавший в России; построил Исаакиевский собор (1818—1858), в котором просил себя похоронить. Это желание он выразил в завещании, составленном в день упомянутой Дантесом свадьбы, но император Александр II не удовлетворил его желания. Европейский обычай, когда каждый зодчий выбирал для своего будущего погребения одну из построенных им церквей, не мог быть соблюден в данном случае, т. к.

строитель был католиком, а храм, им построенный, православным. Гроб с телом Монферрана был лишь обнесен вокруг Исаакиевского собора, после чего вдова увезла его в Париж, там предав земле.

<sup>4</sup> Французская актриса Элиза Виргиния Вероника Пик де Бонне, с 1835 г. жена Монферрана.

<sup>5</sup> П. Н. Демидов (см. о нем письмо IV, прим. 5).

<sup>6</sup> Аглая-Цецилия Вевель, урожденная Буане, умерла 25 ноября 1835 г.

<sup>7</sup> Графиня Елена Иринеевна Хрептович, младшая из дочерей графа Иринея-Михаила Хрептовича, позднее замужем за Владимиром Павловичем Титовым, знакомым Пушкина, литератором и дипломатом.

<sup>8</sup> Брат Ж. Дантеса. См. о нем письмо V, прим. 4.

<sup>9</sup> Граф Фердинанд де Серзе-Лузиньян, подполковник, муж Марии-Евгении Дантес.

<sup>10</sup> Мать Дантеса — Мария-Анна, урожденная графиня Гацфельдт (1784—1832). Немецкая родня с ее стороны была очень обширна.

## XI

Петербург, 19 декабря 1835 г.\*

Уверен, мой дорогой друг, что, получив мое письмо, ты скажешь: «Лучше поздно, чем никогда», и это замечание будет, в общем, заслуженным, ибо давно уж я не писал тебе обычных длинных писем, впрочем (что бы ты ни говорил мне в ободрение), плохо написанных и скверно сложенных, но зато достоинство их хотя бы в том, что они верно передают все, что я чувствую, думая о тебе. У нас было множество учений и репетиций парадов для шайки австрийцев, которым мало было маневров в Калише<sup>1</sup>, так они приезжают еще и в Петербург смотреть на нас, точно на диковинных зверей, да ловить орденские ленты. Еще же признаюсь, что в какой-то мере и увеселения были причиной моей лени: днем на учебу, ночью на балу, вот так и провел я эти две недели, а спал только когда не был занят ни тем, ни другим. Не брани меня в следующем письме, что слишком уж развлекался, теперь же, когда все позади, скажу, что мне пришлось-таки наверстывать потерянное время, ибо два смертельно долгих месяца я просидел у себя, лечась и глотая лекарства, — занятие отнюдь не веселое. Так что теперь, слава Богу, я совсем здоров, правда, закутан во фланель, точно женщина после родов, но в этом двойная польза — она меня не только греет, но и заполняет пустоту в моей одежде, похожей теперь на мешки, так невероятно я исхудал. Надеюсь, ты доволен, я не скупаюсь на подробности. Вот краткое описание моего образа жизни: ежедневно я обедаю дома, слуга договорился с поваром Паниных<sup>2</sup>, который снабжает меня обедом и ужином, очень вкусными и сытными, за 6 рублей в день, и я убежден, что это отсутствие разнообразия в пище идет мне на пользу, поскольку боли в желудке почти совсем прошли. [...]

Гроза разразилась: Трубецкой, Жерве и Черкасский были переведены в армию<sup>3</sup>; им дали 48 часов на подготовку, затем за ними приехали три фельдъегеря, Жерве увезли на Кавказ, Трубецкого в Бессарабию, а Черкасского за 300 верст от Москвы. Мы надеялись, что после этого Император перестанет гневаться на наш полк, но случилось невероятное происшествие: после репетиций парада, прошедших одна другой лучше, наступает великий день; все мы так боимся плохо пройти перед Его Величеством, что страх нас парализует, так что выглядели мы точно горстка рекрутов, и вот на следующий день 4 офицера оказались в кордегардии, по счастью, меня в их числе не было. Самое же скверное, что Кутузов<sup>4</sup> без всякого предупреждения был переведен в инфантерию. Забыл сказать, что князь Трубецкой<sup>5</sup> тотчас отправился в Царское Село поблагодарить Императора, что тот сделал сына армейским офицером. История пока умалчивает, *поступит ли так же отец Кутузова*<sup>6</sup>. Как видишь, надобно подтянуться, коли хочешь гулять по Перспективе и дышать воздухом, и немного надо, чтоб оказаться в клетке, ведь погода грозная и даже очень грозная, так что требуется большая осмотрительность и благоразумие, коли решишься вести свою лодку, ни на что не наталкиваясь. [...]

<sup>1</sup> Калиш — город в Польше, где 27—28 февраля 1813 г. был заключен Калишский союзный договор между Россией и Пруссией против Наполеона I; место проведения войсковых маневров.

<sup>2</sup> Возможно, речь идет о Никите Егоровиче Панине.

<sup>3</sup> 27 октября 1835 г. Сергей Васильевич Трубецкой был переведен в Орденский кирасирский полк, Николай Андреевич Жерве — в драгунский полк в Нижнем Новгороде, Михаил Борисович Черкасский — в Глуховский кирасирский полк.

\* Между этим письмом и предыдущим существует еще одно.

<sup>4</sup> 16 ноября 1835 г. Василий Павлович Голенищев-Кутузов был переведен в Преображенский полк.

<sup>5</sup> Князь Василий Сергеевич Трубецкой (1776—1841), отец Александра и Сергея Васильевичей.

<sup>6</sup> Граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов (1773—1843), петербургский генерал-губернатор, отец гр. В. П. Голенищева-Кутузова.

## ХII

[28 декабря 1835 г.]

[..] Наша с тобой жизнь поистине замечательна, я никогда не встречал большего согласия. Я, по крайней мере, не успеваю чего-либо пожелать или задумать, как ты это уже выполнил, сам о том не зная; из ста примеров, которые я мог бы привести, выберу историю с немецкой газетой, о которой, между прочим, я слишком распространялся, а заметил это, только закончив письмо, но, мой драгоценный, признаюсь честно, у меня духу не хватило начать сначала, да и почта уже отправлялась. Но все-таки об этом деле с газетой мне хотелось поговорить с тобой, еще когда мы были вместе, а когда ты сообщил мне о своем путешествии в Париж, это желание появилось вновь. Меня всегда удерживала боязнь доставить тебе лишние хлопоты, ведь зная тебя, я не сомневался, что ради меня ты поступишь бы своими удовольствиями, чего мне не хотелось ни в коем случае. Но увидев, что ты сам, по своей воле взвалил на себя бремя распутать наши дела, что не просто, ибо вот уж 30 лет, как в них беспорядок и разорение, я собрался с духом и решился говорить с тобою о них. Не успело мое письмо отправиться, как я получаю твое от 5 декабря, где ты сообщаем о своих намерениях в связи с этим делом. Поистине, мой драгоценный, провидение нас балует! Я еще подумаю с тобой вместе и скажу откровенно, что раньше, пока я не познакомился с тобою, я не мог снести ничьего совета и всегда считал такие советы неосновательными и неприятными. С тобой же, могу поклясться честью, я постоянно ловил себя на единственной мысли: «А ведь он прав». Не смейся над моим самолюбием, оно не знает меры. То, что я чувствую всякий раз, как ты склоняешь меня к какому-нибудь делу, представляется мне более существенным, чем ты полагаешь, ведь когда двоим предназначено жить вместе, естественно, один из них должен одержать верх, и чаще всего, чтобы в чем-то убедить, бывает недостаточно иметь больше ума и опытности. Доверие, которое ты сумел мне внушить, я считаю большим благодеянием, так что можешь себе представить, как малейший комплимент в твоём письме вгоняет меня в краску и как же это приятно. Эти места я перечитываю чаще всего. Вполне естественно: я горжусь, что ты доволен мною: своим сыном! Уверен, что однажды у нас окажется еще больше завистников, чем теперь, особенно из тех, кто будет к нам близок и сможет видеть, как мы счастливы. Вот, мой дорогой, все мысли, что приходят мне на ум, когда думаю о тебе; возможно, я сумел бы изложить их изящнее, но мне все так же пришлось бы повторять, что никогда я не любил никого, кроме тебя. Когда же ты говоришь, что не мог бы пережить меня, случись со мною беда, неужели ты думаешь, что мне такая мысль никогда не приходила в голову? Но я-то много рассудительней тебя, я эти мысли гоню, как жуткие кошмары. Да ведь во что бы превратилась наша жизнь, если бы, будучи поистине счастливыми, мы стали бы развлекаться, распаляя воображение и тревожась о всех несчастьях, что могут приключиться. Ведь она превратилась бы в постоянную муку, и, право же, если уж ты не заслужил счастья, то и никто, кроме тебя, его не заслуживает.

Мой дорогой друг, у меня два твоих письма, а я еще ни на одно не ответил, но дело тут не в небрежении или лени. Недавно я занимался фехтованием у Грюнерса<sup>1</sup> и получил удар по кисти саблей, рассадившей мне большой палец, так что всего несколько дней, как я могу им снова пользоваться. К тому же я просил этого дурня Жан-вера<sup>2</sup> тебе написать, не знаю, сделал ли он это, но теперь у меня уже все зажило, и я попытаюсь навестить уполненное.

Начну письмо с ответов на твои самые интересные известия.

Как Король отказал бы тебе в единственной милости, о которой ты его когда-либо просил! Это невозможно, да я и не думаю, чтобы он мог категорически воспротивиться, с его стороны это просто демарш, может быть, чтоб показать, что ему неприятно, когда ты распоряжаешься своим именем в пользу иностранца; я все-таки вполне уверен, что скоро ты получишь письмо, которое осчастливит нас обоих. Говорю «обоих», поскольку ты пишешь так, будто полагаешь меня довольным происшедшим; ты и минуты не задумался, когда писал эти строки, иначе, конечно, вспомнил бы, что вещи, досаждающие тебе, не могут радовать меня, там же, где ты обретаешь счастье, и я его обретаю. К тому же я совершенно сжился с этой мыслью — носить твое имя, и был бы в отчаянии, если бы пришлось от него отказаться.

Мне представляется, что всего труднее будет получить благосклонность Импера-

тора, ведь я действительно ничего не сделал, чтобы заслужить ее. Креста он не может пожаловать: чин! На днях должна наступить моя очередь, и, если ничего нового не случится, ты, может быть, найдешь меня поручиком, так как я 2-й корнет, а в полку есть три вакансии. Я даже думаю, что было бы неблагоприятно докучать ему с протекцией, ибо полагаю, что милость ко мне основывается на том только, что я никогда ничего не просил, а это дело для них непривычное со стороны служащих им иностранцев. И, насколько могу судить, обращение со мною Императора стоит сейчас дороже, чем та малость, которую он мог бы мне пожаловать. На последнем балу в Аничкове Его Величество был чрезвычайно приветлив и беседовал со мною очень долго. Во время разговора я уронил свой султан, и он сказал мне смеясь: «Прошу вас быстрее поднять эти цвета, ибо я позволю вам снять их только с тем, чтобы вы надели свои», а я ответил, что заранее согласен с этим распоряжением. Император: «Но именно это я и имею в виду, однако, коль вам невозможно быстро получить назад свои, советую дорожить этими», на что я ответил, что его цвета уж очень хороши и мне в них слишком приятно, чтобы спешить их оставить<sup>3</sup>; тогда он многократно со мною раскланялся, шутя, как ты понимаешь, и сказал, что я слишком уж любезен и учтив, причем все это произошло к великому отчаянию присутствовавших, которые съели бы меня, если б глаза могли кусать.

Из новостей нет ничего интересного, разве приезд господина де Баранта, французского посла<sup>4</sup>, который произвел довольно приятное впечатление своей внешностью, а ты знаешь, что в этом-то вся суть; вечером в день его представления ко двору Его Величество спросил, знаком ли я с ним, и добавил, что вид у него совершенно достойного человека.

Мадам Соловой<sup>5</sup> очень несчастлива, она только что внезапно потеряла мать; бедная княгиня Гагарина<sup>6</sup> выглядела так хорошо, что смерть ее удивила весь город; скончалась она от грудной водянки.

Едва не забыл рассказать историю, которая составляет предмет всех разговоров в Петербурге вот уже несколько дней; она поистине ужасна, и, захоти ты поверить ее кое-кому из моих соотечественников, они сумели бы сделать из этого славный роман. Вот история: в окрестностях Новгорода есть женский монастырь, и одна из монашек на всю округу славилась красотой. В нее безумно влюбился один офицер из драгун. Помучив его больше года, она согласилась наконец его принять, с условием, что придет он в монастырь один и без провожатых. В назначенный день он вышел из дому около полуночи, пришел в указанное место и встретил там эту монашку, она же, не говоря ни слова, увлекла его в монастырь. Придя в ее келью, он нашел превосходный ужин с самыми разнообразными винами. После ужина ему захотелось воспользоваться этим свиданием наедине, и он стал уверять ее в величайшей любви; она же, выслушав его с полнейшим хладнокровием, спросила, какие доказательства своей любви он может дать. Он стал обещать все, что приходило в голову, — среди прочего, что, если она согласится, он похитит ее и женится, — она же все отвечала, что этого мало. Наконец офицер, доведенный до крайности, сказал, что сделает все, чего она ни попросит. Заставив его принести клятву, она взяла его за руку, подвела к шкафу, показала мешок и сказала, что если он унесет его и бросит в реку, то по возвращении ему ни в чем не будет отказа. Офицер соглашается, она выводит его из монастыря, но он не сделал и 200 шагов, как почувствовал себя дурно и упал. По счастью, один из его товарищей, издали шедший за ним от самого дома и ожидавший близ монастыря, тотчас к нему подбежал. Но было слишком поздно: несчастная отравила его, и он прожил лишь столько, чтобы успеть обо всем рассказать. Когда же полиция открыла мешок, она нашла в нем половину монаха, жутко изуродованного. Монахиню сразу арестовали, и сейчас идет суд, видимо, он не будет слишком долгим: не пойдя товарищ за этим беднягой, оба преступления остались бы безнаказанными, ибо плутовка все прекрасно рассчитала.

Прощай, мой драгоценный друг, целую тебя в обе щеки и желаю счастливого Нового года, хоть это и лишнее, ведь я только что прочел в письме сестры, что ты отменно себя чувствуешь.

Преданный тебе  
Дантес.

Петербург, 28 декабря 1835 г.

<sup>1</sup> Грюнерс, вероятно, учитель фехтования.

<sup>2</sup> Каламбурное обыгрывание фамилии барона Геверса, человека, по мнению Дантеса, недалекого. Голландская фамилия Геверс (Gevers) во французском чтении — Жевер. Жан — Иван-дурачок. Vert — зеленый, незрелый (фр.). Буква t при этом не читается. Отсюда — Жан-вер (Jean-vert), т. е. Жан-зеленый.

<sup>3</sup> Речь идет о белых плюмажах из страусовых перьев императорской гвардии и белых цветах французского королевского дома.

<sup>4</sup> Барон Амабль-Гийом де Барант в декабре 1835 года приступил к исполнению обязанностей посла Франции при русском дворе.

<sup>5</sup> Наталия Андреевна Петрово-Соловово, урожденная княжна Гагарина.

<sup>6</sup> Княгиня Екатерина Сергеевна Гагарина, урожденная княжна Меншикова (1794—1835) — вдова кн. Андрея Павловича Гагарина (1787—1828).

### XIII

Петербург, 6 января 1836 г.

Мой драгоценный друг, я не хочу медлить с рассказом о том, сколько счастья доставило мне твое письмо от 24-го: я же знал, что Король не станет противиться твоей просьбе, но полагал, что это причинит еще больше затруднений и хлопот, и мысль эта была тяжела, поскольку это дело оказывалось для тебя еще одним поводом для огорчений и озаботило бы тебя, а тебе ведь уже пора бы отдыхать да смотреть, как я стараюсь заслужить все благодеяния. Однако будь вполне уверен, мне никогда не потребовался бы королевский приказ, чтобы не расставаться с тобою и посвятить все мое существование тебе — всему, что есть в мире доброго и что я люблю более всего, да, более всего, теперь я вполне могу это написать, раз ты в Париже и я не рискую, что ты где-нибудь забудешь или обронишь письмо. Ведь в Сульце были люди, которых бы это огорчило, а, находясь на вершине счастья, не следует забывать об остальной земле. Однако нежность — чувство, столь неотрывно сопутствующее благодарности, что я люблю тебя более, чем всех своих родственников вместе, и не могу долее откладывать это признание. Может быть, нехорошо испытывать подобные чувства, но что поделаешь, никогда не умел я владеть собою, даже в самых обычных вещах, как же ты хочешь, чтобы я устоял перед желанием дать тебе прочесть всю глубину своего сердца, где нет и никогда не будет ничего тайного от тебя, даже того, что дурно, — ты ведь добр и снисходителен, и я на это полагаюсь, как и на твою дружбу, уж она-то меня не оставит, убежден, ибо в жизни я не сделаю ничего такого, чтобы лишить ее.

Поздравляю, что ты наконец в Париже, и уверен, что тебе это пойдет во благо, если только не станешь часто ездить в салоны для иностранцев, где для людей нервных слишком плохой климат, а я думаю, ты из их числа. [...]

### XIV

Петербург, 20 января 1836 г.

Мой драгоценный друг, я, право, виноват, что не сразу ответил на два твоих добрых и забавных письма, но видишь ли, ночью танцы, поутру манеж, а после полудня сон — вот мое бытие последние две недели и еще по меньшей мере столько же в будущем, но самое скверное — то, что я безумно влюблен! Да, безумно, ибо не знаю, куда преклонить голову. Я не назову тебе ее, ведь письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. Самое же ужасное в моем положении — что она также любит меня, но видаться мы не можем, до сего времени это немыслимо, ибо муж возмутительно ревнив. Поверяю это тебе, мой дорогой, как лучшему другу, и знаю, что ты разделишь мою печаль, но, во имя Господа, никому ни слова, никаких расспросов, за кем я ухаживаю. Ты погубил бы ее, сам того не желая, я же был бы безутешен; видишь ли, я сделал бы для нее что угодно, лишь бы доставить ей радость, ибо жизнь моя с некоторых пор — ежеминутная мука. Любить друг друга и не иметь другой возможности признаться в этом, как между двумя ригурнелями контрданса — ужасно; может статься, я напрасно все это тебе поверяю, и ты назовешь это глупостями, но сердце мое так полно печалью, что необходимо облегчить его хоть немного. Уверен, ты простишь мне это безумство, согласен, что так оно и есть, но я не в состоянии рассуждать, хоть и следовало бы, ибо эта любовь отравляет мое существование. Однако будь спокоен, я осмотрителен и до сих пор был настолько благоразумен, что тайна эта принадлежит лишь нам с нею (она носит то же имя, что и дама, писавшая к тебе в связи с моим делом о своем отчаянии, но чума и голод разорили ее деревню)<sup>1</sup>. Теперь ты должен понять, что можно потерять рассудок из-за подобного создания, в особенности если она вас любит! Снова повторяю тебе: ни слова Брею — он переписывается с Петербургом, и достало бы единственного намека его пресловутой супруге, чтобы погубить нас обоих! Один Господь знает, что могло бы случиться; так что, мой драгоценный друг, я считаю дни до твоего возвращения, и те 4 месяца, что нам предстоит провести все еще вдали друг от друга, покажутся мне веками — ведь в моем положении необходимо, чтобы рядом был любящий человек, кому можно было бы открыть душу и попросить одобрения.

Вот почему я плохо выгляжу, ведь хотя я никогда не чувствовал себя так хорошо физически, как теперь, но я настолько разгорячен, что не имею ни минуты покоя ни ночью, ни днем, отчего и кажусь больным и грустным<sup>2</sup>.

Мой дорогой друг, ты был прав, когда писал в прошлый раз, что подарок от тебя был бы смешон; в самом деле, разве ты не даришь мне подарков ежедневно, и, не правда ли, только благодаря им я существую: экипаж, шуба; мой дорогой, если бы ты не позволил ими пользоваться, я бы не смог выезжать из дому, ведь русские утверждают, что такой холодной зимы не было на памяти людской. Все же единственный подарок, который мне хотелось бы получить от тебя из Парижа, — перчатки и носки из филозели, это ткань из шелка и шерсти, очень приятные и теплые вещи, и, думаю, стоят недорого; если не так, посчитаем, что я ничего не говорил. Относительно драпа, думаю, он не нужен: моя шинель вполне послужит до той поры, когда мы вместе отправимся во Францию, что же до формы, то разница с новою была бы так невелика, что не стоит из-за этого утруждаться. Ты предлагаешь мне переменить квартиру, но я не согласен, ибо наилучшим образом и удобно устроен в своей, так что с трудом без нее обошелся бы, тем более что я был бы стеснен, да и ты тоже — ведь кроме постоянных солдат на парадной лестнице, из-за моих поздних приездов и швейцару пришлось бы почти всю ночь быть на ногах, что было бы мне неприятно. Материи, которые ты предлагаешь, принимаю с благодарностью, и это не будет роскошеством, ведь моя старая мебель почти вся изъедена животными; одно условие, что ты сам все выберешь, по той простой причине, что у тебя намного больше вкуса; цвет же неважен — летом придется красить комнату, вот ее и выкрасят в цвет, подходящий к материи.

Я послал Антуана<sup>3</sup> в деревню: меньше, чем за 500-600 рублей не найти дачи, где мы оба устроились бы удобно и в тепле. Подумай, не слишком ли это дорого, и ответь сразу, чтобы я смог распорядиться и все устроить для твоего удобства. Дай мне знать со следующей почтой, получил ли ты письмо некоего господина; позавчера он написал мне еще пачку писем, о которых расскажу тебе в следующий раз. Прощай, мой драгоценный, будь снисходителен к моей новой страсти, ведь тебя я тоже люблю всем сердцем.

Дантес.

<sup>1</sup> Безусловно, речь идет о московской тетке Дантеса — графине Шарлотте (Елизавете Федоровне) Мусиной-Пушкиной (1758—1835), урожд. графине фон Вартеленбен, двоюродной бабушке Дантеса, через которую Геккерен должен был передать денежную помощь для Дантеса. Сокращенная фамилия «Пушкин» вместо «Мусин-Пушкин» в то время использовалась очень часто.

<sup>2</sup> На этом месте обрывается фрагмент данного письма, опубликованный Анри Труайя в 1946 г.

<sup>3</sup> Вероятно, слуга Дантеса.

## XV

Петербург, 2 февраля 1836 г.

Мой драгоценный друг, никогда в жизни я столь не нуждался в твоих добрых письмах, на душе такая тоска, что они становятся для меня поистине бальзамом. Теперь мне кажется, что я люблю ее больше, чем две недели назад! Право, мой дорогой, это *idée fixe*, она не покидает меня, она со мною во сне и наяву, это страшное мученье: я едва могу собраться с мыслями, чтобы написать тебе несколько банальных строк, а ведь в этом единственное мое утешение — мне кажется, что, когда говорю с тобой, на душе становится легче. У меня более, чем когда-либо, причин для радости, ибо я достиг того, что могу бывать в ее доме<sup>1</sup>, но видиться с ней наедине, думаю, почти невозможно, и все же совершенно необходимо; и нет человеческой силы, способной этому помешать, ибо только так я вновь обрету жизнь и спокойствие. Безусловно, безумие слишком долго бороться со злым роком, но отступить слишком рано — трусость. Словом, мой драгоценный, только ты можешь быть моим советчиком в этих обстоятельствах: как быть, скажи? Я последую твоим советам, ведь ты мой лучший друг, и я хотел бы излечиться к твоему возвращению и не думать ни о чем, кроме счастья видеть тебя, а радоваться только тому, что мы вместе. Напрасно я рассказываю тебе все эти подробности, знаю — они тебя удручат, но с моей стороны в этом есть немного эгоизма, ведь мне-то становится легче. Может быть, ты простишь мне, что я с этого начал, когда увидишь, что я приберег добрую новость. Я только что произведен в поручики<sup>2</sup>; как видишь, мое предсказание исполнилось незамедлительно, и пока я служил весьма счастливо — ведь в конной гвардии до сих пор остаются в этом чине те, кто был в корнетах еще до моего приезда в Петербург. Уверен, в Сульце также

будут очень довольны, я извещу их ближайшей почтой. Честно говоря, мой дорогой друг, если бы в прошлом году ты захотел поддержать меня чуть больше, когда я просился на Кавказ — теперь ведь ты можешь это признать, или я сильно заблуждался, всегда считая это несогласием, конечно, тайным, — то на будущий год я путешествовал бы с тобой как поручик-кавалергард, да вдобавок с лентой в петлице, потому что все, кто был на Кавказе, вернулись в добром здравии и были представлены к крестам, вплоть до маркиза де Пина<sup>3</sup>. Один бедняга Барятинский<sup>4</sup> был опасно ранен, верно; но тоже — какое прекрасное вознаграждение: Император назначил его адъютантом Великого Князя-Наследника, а после представил к награждению крестом Св. Георгия и дал отпуск за границу на столько времени, сколько потребуется для поправки здоровья; если бы я был там, может быть, тоже что-нибудь бы привез.

<sup>1</sup> Таким образом, мы можем теперь более точно, чем раньше, — январем 1836 г. — датировать время, когда Дантес был принят в доме Пушкиных.

<sup>2</sup> Дантес был произведен в поручики Кавалергардского полка 28 января 1836 г. Во французской армии этот чин равнялся лейтенантскому.

<sup>3</sup> Маркиз де Пина, помянутый Пушкиным как принимаемый в гвардию наряду с Дантесом.

<sup>4</sup> Князь Александр Иванович Барятинский (1815—1879) — поручик лейб-гвардии Кирасирского полка, в марте 1835 г. был по его просьбе командирован в войска Кавказского корпуса. Осенью того же года был тяжело ранен, награжден золотой саблей, произведен в очередной чин, представлен к ордену Св. Георгия 4-й степени. Позднее фельдмаршал.

## XVI

Петербург, 14 февраля 1836 г.

Мой дорогой друг, вот и карнавал позади, а с ним — часть моих терзаний. Право, я, кажется, стал немного спокойней, не видясь с нею ежедневно, да и теперь уж не может кто угодно прийти, взять ее руку, обнять за талию, танцевать и беседовать с нею, как я это делаю: а они ведь лучше меня, ибо совесть у них чище. Глупо говорить об этом, но оказывается — никогда бы не поверил — это ревность, и я постоянно пребывал в раздражении, которое делало меня несчастным. Кроме того, в последний раз, что мы с ней виделись, у нас состоялось объяснение, и было оно ужасным, но пошло мне на пользу. В этой женщине обычно находят мало ума, не знаю, любовь ли дает его, но невозможно вести себя с большим тактом, изяществом и умом, чем она при этом разговоре, а его тяжело было вынести, ведь речь шла не более и не менее как о том, чтобы отказать любимому и обожающему ее человеку, умолявшему пренебречь ради него своим долгом: она описала мне свое положение с таким самопожертвованием, просила пощадить ее с такою наивностью, что я воистину был сражен и не нашел слов в ответ. Если бы ты знал, как она утешала меня, видя, что я задыхаюсь и в ужасном состоянии; а как сказала: «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем мое сердце, ибо все остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства, пощадите же меня и любите всегда так, как теперь, моя любовь будет вам наградой», — да, видишь ли, думаю, будь мы одни, я пал бы к ее ногам и целовал их, и, уверяю тебя, с этого дня моя любовь к ней стала еще сильнее. Только теперь она сделалась иной: теперь я ее боготворю и почитаю, как боготворят и чтят тех, к кому привязано все существование.

Прости же, мой драгоценный друг, что начинаю письмо с рассказа о ней, но ведь мы с нею — одно и говорить с тобою о ней — значит говорить и о себе, а ты во всех письмах попрекаешь, что я мало о себе рассказываю.

Как я уже написал, мне лучше, много лучше, и, слава Богу, я начинаю дышать, ибо мучение мое было непереносимо: быть веселым, смеющимся перед светом, перед всеми, с кем встречался ежедневно, тогда как в душе была смерть — ужасное положение, которого я не пожелал бы и злейшему врагу<sup>1</sup>. Все же потом бываешь вознагражден — пусть даже одной той фразой, что она сказала; кажется, я написал ее тебе — ты же единственный, кто равен ей в моей душе: когда я думаю не о ней, то о тебе. Однако не ревнуй, мой драгоценный, и не злоупотреби моим доверием: ты-то останешься навсегда, что же до нее — время окажет свое действие и ее изменит, так что ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил. Ну, а к тебе, мой драгоценный, меня привязывает каждый новый день все сильнее, напоминая, что без тебя я был бы ничто.

В Петербурге ничего интересного: да и каких рассказов ты хотел бы, коли ты в Париже, а ты источник всех моих удовольствий и душевных волнений, и ты легко

можешь найти себе развлечения — от полишинеля на бульварах до министров в Палате, от суда уголовного до суда пэров. Я в самом деле завидую твоей жизни в Париже — это время должно быть интересным, а наши газеты, как ни усердствуй, способны лишь весьма слабо воспроизвести красноречие и отвагу убийцы Луи-Филиппа<sup>2</sup>. [...]

<sup>1</sup> На этом месте обрывается фрагмент данного письма, опубликованный Анри Труайя в 1946 г.

<sup>2</sup> Луи-Филипп (1773—1850) — французский король с 1830 по 1848 г., убит не был, Дантес говорит о покушавшемся на убийство Жозефе Фьески, процесс над которым начался 10 февраля 1836 г. в Париже. Обвиняемый был казнен.

## XVII

Петербург, 6 марта 1836 г.

Мой дорогой друг, я все медлил с ответом, ведь мне было необходимо читать и перечитывать твое письмо. Я нашел в нем все, что ты обещал: мужество для того, чтобы снести свое положение. Да, поистине, в самом человеке всегда достаточно сил, чтобы одолеть все, с чем он считает необходимым бороться, и Господь мне свидетель, что уже при получении твоего письма я принял решение пожертвовать этой женщиной ради тебя. Решение мое было великим, но и письмо твое было столь добрым, в нем было столько правды и столь нежная дружба, что я ни мгновения не колебался; с той же минуты я полностью изменил свое поведение с нею: я избегал встреч так же старательно, как прежде искал их; я говорил с нею со всем безразличием, на какое был способен, но думаю, что не выучи я твоего письма, мне не достало бы духу. На сей раз, слава Богу, я победил себя, и от безудержной страсти, что пожирала меня 6 месяцев, о которой я говорил во всех письмах к тебе, во мне осталось лишь преклонение да спокойное восхищение созданием, заставившим мое сердце биться столь сильно.

Сейчас, когда все позади, позволь сказать, что твое послание было слишком суровым, ты отнесся к этому трагически и строго наказал меня, стараясь уверить, будто ты знал, что ничего для меня не значишь, и говоря, что письмо мое было полно угроз. Если смысл его был действительно таков, признаю свою вину, но только сердце мое совершенно невинно. Да и как же твое-то сердце не сказало тебе тотчас, что я никогда не причиню тебе горя намеренно, тебе, столь доброму и снисходительному. Видимо, ты окончательно утратил доверие к моему рассудку, правда, был он совсем слаб, но все-таки, мой драгоценный, не настолько, чтобы положить на весы твою дружбу и думать о себе прежде, чем о тебе. Это было бы более чем себялюбием, это было бы самой черной неблагодарностью. Доказательство всего сказанного — мое доверие, мне известны твои убеждения на этот счет, так что, открываясь, я знал заранее, что ты ответишь отнюдь не поощрением. Вот я и просил укрепить меня советами, в уверенности, что только это поможет мне одолеть чувство, коему я попустительствовал и которое не могло дать мне счастья. Ты был не менее суров, говоря о ней, когда написал, будто до меня она хотела принести свою честь в жертву другому — но, видишь ли, это невозможно. Верю, что были мужчины, терявшие из-за нее голову, она для этого достаточно прелестна, но чтобы она их слушала, нет! Она же никого не любила больше, чем меня, а в последнее время было предостаточно случаев, когда она могла бы отдать мне все — и что же, мой дорогой друг — никогда ничего! никогда в жизни!

Она была много сильнее меня, больше 20 раз просила она пожать ее и детей, ее будущность, и была столь прекрасна в эти минуты (а какая женщина не была бы), что, желай она, чтобы от нее отказались, она повела бы себя по-иному, ведь я уже говорил, что она столь прекрасна, что можно принять ее за ангела, сошедшего с небес. В мире не нашлось бы мужчины, который не уступил бы ей в это мгновение, такое огромное уважение она внушала. Итак, она осталась чиста; перед целым светом она может не опускать головы. Нет другой женщины, которая повела бы себя так же. Конечно, есть такие, у кого на устах чаще слова о добродетели и долге, но с большей добродетелью в душе — ни единой. Я говорю об этом не с тем, чтобы ты мог оценить мою жертву, в этом я всегда буду отставать от тебя, но дабы показать, насколько неверно можно порою судить по внешнему виду. Еще одно странное обстоятельство: пока я не получил твоего письма, никто в свете даже имени ее при мне не произносил. Едва твое письмо пришло, словно в подтверждение всем твоим предсказаниям — в тот же вечер еду я на бал при дворе, и Великий Князь-Наследник шутит со мной о ней, отчего я тотчас заключил, что и в свете, должно быть, прохаживались на мой счет. Ее же, убежден, никто никогда не подозревал, и я слишком люблю ее, чтобы хотеть скомпрометировать. Ну, я уже сказал, все позади, так что надеюсь, по приезде ты найдешь меня совершенно выздоровевшим. [...]

## XVIII

Петербург, суббота 28 марта 1836 г.

[...] Хотел писать тебе, не говоря о ней, однако, признаюсь, письмо без этого не идет, да, к тому же, я обязан тебе отчетом о своем поведении после получения последнего письма. Как и обещал, я держался твердо, я отказался от свиданий и от встреч с нею: за эти три недели я говорил с нею 4 раза и о вещах, совершенно незначительных, а ведь, Господь свидетель, мог бы проговорить 10 часов кряду, пожелай я высказать половину того, что чувствую, видя ее. Признаюсь откровенно — жертва, тебе принесенная, огромна. Чтобы так твердо держать слово, надобно любить так, как я тебя; я и сам бы не поверил, что мне достанет духу жить поблизости от столь любимой женщины и не бывать у нее, имея для этого все возможности. Ведь, мой драгоценный, не могу скрыть от тебя, что все еще безумен; однако же сам Господь пришел мне на помощь: вчера она потеряла свекровь<sup>1</sup>, так что не меньше месяца будет вынуждена оставаться дома, тогда, может быть, невозможность видеть ее позволит мне не предаваться этой страшной борьбе, возобновлявшейся ежечасно, стоило мне остаться одному: надо ли идти или не ходить. Так что признаюсь, в последнее время я постоянно страшусь сидеть дома в одиночестве и часто выхожу на воздух, чтобы рассеяться. Так вот, когда бы ты мог представить, как сильно и нетерпеливо я жду твоего приезда, а отнюдь не боюсь его — я дни считаю до той поры, когда рядом будет кто-то, кого я мог бы любить — на сердце так тяжело, и такое желание любить и не быть одиноким в целом свете, как сейчас, что 6 недель ожидания покажутся мне годами.

<sup>1</sup> Надежда Осиповна Пушкина, мать Пушкина, скончалась утром 29 марта 1836 г.; приходится предполагать, что Дантес начал свое письмо 28 марта и продолжил на следующий день. Аналог — письмо Дантеса от 2 августа 1835 г., начатое 30 июля.

## XIX

[апрель 1836 г., после 5-го]<sup>1</sup>

Мой драгоценный друг,

необходимо, чтобы я рассказал о себе еще что-нибудь до твоего приезда в Петербург. Хотя ничего особенно интересного и нет, нужно рассказать тысячу пустячков для наших бесед у камина. Право, мой дражайший, говоря, что считаю дни до твоего приезда, я лгал — минуты, да, минуты. Как же крепко мы обнимемся! Как станем беседовать о тебе, обо мне, о твоём путешествии — да, советую запастись твоим знаменитым терпением, ибо не дам тебе ни минуты покоя. Я хочу надоесть тебе вопросами, ведь тебе придется день за днем рассказывать мне обо всем, чем ты занимался во время отсутствия.

Мой бедный друг, я от всего сердца жалею, что тебе пришлось совершить скучную поездку, которую тебе пришлось предпринять для получения того, что должно составить наше счастье. За 10 дней познакомиться с семьей — дело, безусловно, мало приятное, но оно должно превратиться в муку, если знакомство завершается твоей просьбой, в которой нет ничего приятного для этих особ. Они могли бы очень легко, и при этом не дав повода для упреков, отказаться ввести в свою семью иностранца, который, конечно, не заставит их стыдиться себя и сознает всю ответственность своего нового положения. [...]

Еще одна неприятная новость: все это лето у нас будут работать каменщики, как я уже писал, Завадовские купили дом и будут надстраивать этаж над квартирой мадам Влодек<sup>2</sup>. [...]

Не хочу говорить тебе о своем сердце, ибо пришлось бы сказать столько, что никогда бы не кончил. Тем не менее, оно чувствует себя хорошо, и данное тобою лекарство оказалось полезным, благодарю миллион раз, я возвращаюсь к жизни и надеюсь, что деревня исцелит меня окончательно, — я несколько месяцев не увижу ее.

Ты помнишь, что Жан-вер просил руку сестры красавицы графини Борх и ему по справедливости отказали. Что же, соперник его победил и вскоре получит ее в жены<sup>3</sup>.

Прощай, мой драгоценный друг, единственный поцелуй в одну твою щеку, но не более, ибо остальные мне хочется подарить тебе по приезде.

Дантес.

<sup>1</sup> Датируется на основании полного текста данного письма.

<sup>2</sup> Речь идет о двухэтажном доме по Невскому проспекту, 48 (стоявшем на месте нынешнего универмага «Пассаж»), принадлежавшем семейству графов Влодек. Хозяйкой его числилась «жена генерала-лейтенанта Влодека», не жившая в Петербурге, Дантес ее именует «мадам Влодек». Ее дочь, урожденная графиня Влодек, Елена Михайловна (1807—1874), в замужестве Завадовская. Вероятно, Завадовские хотели в 1836 году приобрести дом и

достроить его, но эти планы тогда не были претворены в жизнь. Второй этаж дома занимали Геккерен с Дантесом.

<sup>3</sup> Ольга Викентьевна Голынская, двоюродная сестра Наталии Николаевны Гончаровой, сестра Любови Викентьевны Борх (жены гр. Иосифа Михайловича Борха, имя которого использовано в подписи анонимного пасквиля, присланного Пушкину 4 ноября 1836 г.), 1 октября 1836 г. стала женой Франсуа-Адольфа Леве-Веймара (1801—1854), французского литератора.

## XX

[17 октября 1836 г.]<sup>1</sup>

Дорогой друг, я хотел говорить с тобой сегодня утром, но у меня было так мало времени, что это оказалось невозможным. Вчера я случайно провел весь вечер наедине с известной тебе дамой, но когда я говорю наедине — это значит, что я был единственным мужчиной у княгини Вяземской, почти час. Можешь вообразить мое состояние, я наконец собрался с мужеством и достаточно хорошо исполнил свою роль и даже был довольно весел. В общем я хорошо продержался до 11 часов, но затем силы оставили меня и охватила такая слабость, что я едва успел выйти из гостиной, а оказавшись на улице, принялся плакать, точно глупец, отчего, правда, мне полегчало, ибо я задыхался; после же, когда я вернулся к себе, оказалось, что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и испытывал безумное нравственное страдание.

Вот почему я решился прибегнуть к твоей помощи и умолять выполнить сегодня вечером то, что ты мне обещал. Абсолютно необходимо, чтобы ты переговорил с нею, дабы мне окончательно знать, как быть.

Сегодня вечером она едет к Лерхенфельдам, так что, отказавшись от партии, ты улучишь минутку для разговора с нею.

Вот мое мнение: я полагаю, что ты должен открыто к ней обратиться и сказать, да так, чтоб не слышала сестра, что тебе совершенно необходимо с нею поговорить. Тогда спроси ее, не была ли она случайно вчера у Вяземских; когда же она ответит утвердительно, ты скажешь, что так и полагал и что она может оказать тебе великую услугу; ты расскажешь о том, что со мной вчера произошло по возвращении, словно бы был свидетелем: будто мой слуга перепугался и пришел будить тебя в два часа ночи, ты меня много расспрашивал, но так и не смог ничего добиться от меня [...], и что ты убежден, что у меня произошла ссора с ее мужем, а к ней обращаешься, чтобы предотвратить беду (мужа там не было). Это только докажет, что я не рассказал тебе о вечере, а это крайне необходимо, ведь надо, чтобы она думала, будто я таюсь от тебя и ты расспрашиваешь ее лишь как отец, интересующийся делами сына; тогда было бы недурно, чтобы ты намекнул ей, будто полагаешь, что бывают и более близкие отношения, чем существующие, поскольку ты сумеешь дать ей понять, что, по крайней мере, судя по ее поведению со мной, такие отношения должны быть.

Словом, самое трудное начать, и мне кажется, что такое начало весьма хорошо, ибо, как я сказал, она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен заранее, пусть она видит в нем лишь вполне естественное чувство тревоги за мое здоровье и судьбу, и ты должен настоятельно попросить хранить это в тайне от всех, особенно от меня. Все-таки было бы осмотнительно, если бы ты не сразу стал просить ее принять меня, ты мог бы сделать это в следующий раз, а еще остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме. Еще раз умоляю тебя, мой дорогой, прийти на помощь, я всецело отдаю себя в твои руки, ибо, если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, куда она меня заведет, я сойду с ума.

Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить, что [далее несколько слов написано неразборчиво. — С.В.].

Прости за бессвязность этой записки, но поверь, я потерял голову, она горит, точно в огне, и мне дьявольски скверно, но, если тебе недостаточно сведений, будь милостив, загляни в казарму перед поездкой к Лерхенфельдам, ты найдешь меня у Бетанкура<sup>2</sup>.

Целую тебя,  
Ж. де Геккерен

<sup>1</sup> Обоснование датировки см. ниже, в отрывке из книги «Пуговица Пушкина».

<sup>2</sup> Августин (Адольф) де Бетанкур (1805—1875) — ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка, сын инженер-генерала Августина де Бетанкура, основателя корпуса путей сообщения в Петербурге.

## XXI

[6 ноября 1836 г.]<sup>1</sup>

Мой драгоценный друг, благодарю за две присланные тобою записки. Они меня немного успокоили, я в этом нуждался и пишу эти несколько слов, чтобы повторить, что всецело на тебя полагаюсь, какое бы решение ты ни принял, будучи заранее убежден, что во всем этом деле ты станешь действовать лучше моего.

Бог мой, я не сетую на женщину и счастлив, зная, что она спокойна, но это большая неосторожность либо безумие, чего я, к тому же, не понимаю, как и того, какова была ее цель. Записку пришли завтра, чтоб знать, не случилось ли чего нового за ночь, кроме того, ты не говоришь, виделся ли с сестрой<sup>2</sup> у тетки<sup>3</sup> и откуда ты знаешь, что она призналась в письмах.

Доброго вечера, сердечно обнимаю,  
Ж. де Геккерен.

Во всем этом Екатерина — доброе создание, она ведет себя восхитительно.

<sup>1</sup> Письмо датируется предположительно на основании содержания и того, что в этот день Дантес находился на дежурстве по полку.

<sup>2</sup> Екатерина Николаевна Гончарова (1809—1843).

<sup>3</sup> Екатерина Ивановна Загряжская (1779—1842).

## Фрагменты книги Серены Витале «ПУГОВИЦА ПУШКИНА»

### ИЗ ГЛАВЫ «О ВРЕДЕ ФЛАНЕЛЕВЫХ РУБАШЕК»

[К письму Дантеса от 20 января 1836 года]

Отрывок из этого письма [...] был опубликован Анри Труайя в его книге «Пушкин»<sup>\*</sup>. В публикации были допущены некоторые ошибки в расшифровке текста, среди которых «Vroge» вместо «Vray» (Труайя предлагал также вариант «Vrage»), что привело к самым фантастическим гипотезам относительно идентификации таинственного персонажа. Не все русские исследователи поверили словам Дантеса. И. Ободовская и М. Дементьев высказали подозрение («Вокруг Пушкина», М., 1978), что письма, отрывки из которых опубликовал Труайя, были написаны Дантесом много позже и оставлены им среди других бумаг, чтобы «оправдаться» в глазах потомков. Именно Ободовской и Дементьеву, двум авторам, исследовавшим семейство Гончаровых и имеющим в этой области ценные изыскания — они опубликовали (правда, только в русском переводе, притом очень небрежном, со многими ошибками) драгоценные архивные материалы — мы обязаны абсолютно (и тенденциозно) искаженным образом Наталии Николаевны. Образом, совершенно соответствовавшим образу идеальной жены [...], пропагандируемым и воспеваемым советской риторикой. В постсоветскую эпоху наблюдается попытка освободиться от этого прочно сложившегося стереотипа [...] В книге «Пушкин в 1836 году» серьезная исследовательница С. Абрамович пишет, что отрывки писем Дантеса, опубликованные Труайя, «могли бы многое прояснить, если бы не были вырваны из контекста всей переписки. Взятые вне этого контекста и без учета особенностей эпистолярного стиля и бытовой культуры эпохи, они подают повод для крайне субъективных суждений». «Январское письмо говорит прежде всего о том, что Дантес в тот момент был охвачен подлинной страстью. [...] Но следует отнестись с сугубой осторожностью к его заявлениям, касающимся Н. Н. Пушкиной. [...] Его слова „...она тоже любит меня“ свидетельствуют скорее о его самоуверенности, чем о реальном положении дел». Мы могли бы и согласиться с Абрамович, но сам ее метод не корректен: почему можно верить Дантесу, когда он говорит о себе, и отказывать ему в доверии, когда он говорит о Наталии Николаевне и приводит ее слова?

<sup>\*</sup> Troyat H. Pouchkin. Vol. II, Paris, 1946. p. 356, 357.

говорит о себе, и отказывать ему в доверии, когда он говорит о Наталии Николаевне и приводит ее слова?

Основываясь на фразе «она носит то же имя, что и дама, писавшая к тебе в связи с моим делом о своем отчаянии, но чума и голод разорили ее деревни...» (в которой Дантес совершенно очевидно говорил о московской тетушке, графине Шарлотте Мусиной-Пушкиной), кое-кто пустился на поиски всех русских дам, подходивших под это описание и к которым Дантес мог обратиться за материальной помощью, но которые при этом не назывались ни Пушкиной, ни Мусиной-Пушкиной: трудно было примириться с мыслью, что жена великого человека, русского поэта, могла влюбиться или хотя бы увлечься французом. А некоторые, тоже на основании отрывков, опубликованных Труайя (а он, это мы знаем достоверно, получил от Клода Геккерена полную копию двух писем, о которых идет речь), предположили, что Дантес вообще все выдумал (и свою любовь к Натали, и любовь, которую Натали испытывала к нему) с целью возбудить ревность Геккерена. И, следовательно, его письма были лишь частью эротической игры между двумя гомосексуалистами (в соответствии с советской *grüderie* — игры грязной)... В этом нет ничего удивительного: приведенные выше цитаты — это всего лишь развитие из более чем вековой истории недоверия и подозрительности, с которыми русские относятся к каждому слову и поступку Дантеса, эпизоды из более чем вековой истории демонизации его фигуры. И в то же время это эпизоды посмертного причисления жены Пушкина к лику святых — процесса, который длится уже два десятилетия. Феномен этот объясним как реакция на антипатию к Наталии Николаевне Пушкиной, которую XIX век никогда не мог скрыть до конца и которую открыто продемонстрировал первый настоящий исследователь гибели Пушкина Павел Щеголев... Эту антипатию разделяли обе великие женщины-поэты нашего века: Анна Ахматова и Марина Цветаева.

### ИЗ ГЛАВЫ «ЗАЧЕРКНУТЫЕ ФРАЗЫ»

[К письму Дантеса от 17 октября 1836 года.]

«...Так и не смог ничего добиться от меня...» После этой фразы идет приписка вдоль левого поля: «Но впрочем, тебе и не надобно было моих слов, ведь ты и сам догадался, что я потерял голову из-за нее, а наблюдая перемены в моем поведении и в характере, окончательно в этом утвердился, а стало быть, и мужу невозможно было не заметить того же самого».

«Если бы ты сумел вдобавок припутнуть ее и внушить, что...» (далее несколько слов не читаются). Дантес вымарал всю эту фразу, так что с трудом можно разобрать только ее начало, приводим его в оригинале: «*Tu routrais aussi lui faire peure et lui faire entendre que...*» Возможно, что он так и не закончил свою мысль: сначала он зачеркнул написанное, а потом размазал еще не просохшие чернила грутым концом гусиного пера или маленьким перышком. Он так старательно вымарал это место, что теперь уже никакая — даже самая совершенная — техника реставрации старых рукописей не поможет восстановить испорченный текст. Каким именно образом он хотел «припутнуть» Натали? К чему он вел? К трагическому финалу («я покончу счеты с жизнью») или к низкой прозе жизни, пригрозив, например, «обо всем рассказать мужу»? Этого мы никогда не узнаем, однако для нас не стало бы большой неожиданностью, если бы вдруг подтвердилось второе предположение. [...]

Это письмо Жоржа Дантеса не могло быть написано раньше лета 1836 года. Как известно, Натали вновь встречает Дантеса после большого перерыва: по меньшей мере три последние месяца она не должна была появляться в свете (по случаю траура после смерти свекрови, а затем в связи с рождением дочери). Письмо помечено Петербургом — значит дачный сезон уже закончился, и Пушкины вернулись с Островов в город. Другое обстоятельство (возвращение в столицу Веры Федоровны Вяземской после долгого отдыха в Норденрее) отодвигает дату, раньше которой оно не могло быть написано, на последние числа сентября: княгиня распахнет двери своего салона только в двадцатых числах месяца. С другой стороны, вне всяких сомнений, Дантес пишет письмо до того, как он получил вызов Пушкина. Скорее всего, оно написано в какое-то из его дежурств на Шпалерной. Если бы не долг службы, то никакая другая сила не смогла бы удержать в тот вечер и в ту ночь Дантеса в казарме, и наш кавалергард

\* Преувеличенной стыдливостью (фр.).

примчался бы в дом баварского посла Максимилиана фон Лерхенфельда\*, где — он знал — будет и Натали. Из всех дней, что Дантес был занят на дежурстве, видимо, следует остановиться на той дате, которая ближе всего к 19 октября, т. е. известно, что 19-го полковой врач дал ему увольнительную по болезни. Зная о том, как часто болел и легко простужался французский офицер, мы вправе понимать его жалобы на неожиданный упадок сил, пламя жара и «страшную лихорадку» не только как описание любовного недуга, но и как симптомы начинающегося воспаления легких. Следовательно, нам остается предположить, что Дантес написал это письмо днем 17 октября: накануне этого дня он вышел от Вяземских и наверняка остановился, чтобы хоть немного прийти в себя, и тут его легко могло продуть порывистым легяным ветром, который дул в тот день с Финского залива, нагоняя воду в Неве.

Так постепенно мы начинаем кое-что понимать: должно быть, еще в октябре Пушкин предложил Дантесу объясниться; возможно, что в разговоре не обошлось без резкостей, особенно если учесть, что Пушкин наказывал Дантесу впредь не появляться на пороге его дома.

Только подобного рода инцидент Геккерен мог использовать в разговоре с Натали, изобразив дело так, будто между ними произошла ссора.

Нечто грамматическое и бесповоротное должно было произойти и в отношениях Натали с Дантесом, возможно, это был ее отказ — тот самый, о котором Александр Трубецкой рассказывал матери княжны Марии Барятинской. И теперь стоило ему только увидеть Натали, как слезы сами подступали к горлу, и держать себя в образе того беззаботного весельчака, каким привыкли его видеть в свете, требовало от него неимоверных усилий. Стало быть, с того момента, как он потерял голову из-за жены Пушкина, вся его веселость была наигрышем, не более чем бравадой. А что же мы? Мы все это время насмехались над письмом, где говорится, какая это мука — казаться веселым и беспечным, когда «на сердце смертный хлад», подозревали его в том, что он постоянно выказывает любовь, а на самом деле упорно преследует какие-то неблагоприятные цели, мы усомнились даже в самой возможности такой любви... Как бы там ни было, не следует забывать, что у Дантеса были весьма серьезные причины, чтобы забеспокоиться, потерять покой и самообладание на самом деле: он действительно угодил в чудовищную историю со старшей из сестер Гончаровых.

Итак, теперь у нас есть доказательство: выходит, что Дантес «руководил всем поведением» посланника, а не наоборот. Это Дантес подстроил так, чтобы тот сводничал, упрощив «отца» поговорить с «небезызвестной Дамой», вывести про ее чувства и намерения, растрогать ее душу и помочь тем самым одолеть ее непреклонное сопротивление. «Ну и фрукт, однако, этот Дантес!» — воскликнем мы в тон Пушкину: без тени смущения он обращается со своей просьбой замолвить за него слово перед женщиной, которую сам ни за что не хочет потерять, к мужчине, который любит его. И этот мужчина потворствует ему, он становится герольдом его безудержной страсти, которая причиняет самому ему и мучения, и страдания и вообще должна быть для него оскорбительна. Однако он не бескорыстен, отнюдь. Он прекрасно понимает, что пока молодой человек не добьется своей строптивой красавицы, никакой «спокойной жизни» не будет, а там — как знать! — со временем... не обратится ли этот юношеский пыл и на него. Но все же он действует не только по расчету: невыносимо видеть, как твой «сын» болеет и душой, и телом, как он вот-вот сойдет с ума, и Геккерен готов на все, даже на то, чтобы, взявши за руку, самому вести Пушкину к постели больного. При встрече с Наталией Николаевной он нашептывает ей со слезой в голосе, что Дантес умирает, он погибает от любви к ней, в бреду он повторяет только ее имя и просит — как о последней милости — только об одном, увидеть ее. «Верните мне моего сына!» — умоляет Геккерен, и слова его звучат вкрадчиво и двусмысленно: в них и кощунство и мольба, и осуждение и наущение.

\* К сожалению, ни по каким источникам — опубликованным и неопубликованным — нам не удалось проверить высказанное нами предположение и установить точную дату приема, устроенного Максимилианом фон Лерхенфельдом-Кеферингом и его женой Беллой осенью 1836 года. Исследование богатейшего частного архива Лерхенфельда, лишь недавно переданного в Городской архив гор.Амберга, не дало никаких результатов. Документы Баварского посольства в Петербурге, по которым мы могли бы проверить интересующие нас данные, погибли в самом начале первой мировой войны вместе с кораблем, когда архив вывозили в Германию. По имеющимся в нашем распоряжении источникам не удалось нам установить и дату вечернего приема у Вяземских, на котором из мужчин присутствовал один только Дантес. Хотя все обстоятельства, по нашему глубокому убеждению, говорят за то, что письмо было написано Дантесом перед самой болезнью, давшей ему освобождение от дежурств на период с 19 по 27 октября, приведем, тем не менее, даты всех дежурств Дантеса за этот месяц: со 2 на 3 (дежурство было круглосуточным, начиналось в 12 часов дня и заканчивалось в 12 ч. следующего дня), 6—7, 10—11, 12—13, 29—30 октября.

Здесь мы можем наконец перевести дух: по крайней мере, до октября 1836 года Пушкин не был соси.<sup>\*</sup> Наталья Николаевна, как писал Геккерен в письме к Нессельроде, «никогда не забывала полностью о своем долге» и могла гордиться, как выразился Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу, своей *innocence de fond* («непорочностью по самой своей сути»). Но именно в этих «по сути» и «никогда полностью» и заключалась — как ни странно — и вся вина и причина будущей катастрофы. Она отвергла Дантеса дважды (причем во второй раз, насколько мы можем судить об этом, ее отказ был продиктован чувством ревности — и к своей сестре Екатерине, и к княгине Барятинской), но при этом она и не умела и не хотела положить конец этой увлекательной игре чувств: неожиданной бледности, внезапной угрозы, умоляющим взглядам, сладостным речам и тайным *billets doux*.<sup>\*\*</sup>

«Было бы недурно, — наставляет Дантес „отца“, — чтобы ты намекнул ей, будто полагаешь, что бывают и более близкие отношения, чем существующие, поскольку ты сумеешь дать ей понять, что, по крайней мере, судя по ее поведению со мной, такие отношения должны быть». Из-за любви Жоржа Дантеса, из-за страха перед своим мужем, из-за своегообычного понятия добродетели, из-за своей роковой нищеты духа Натали вела себя с ним как *allumeuse*,<sup>\*\*\*</sup> поджигая своим кокетством.

Она продолжала потчевать юного француза острыми русскими закусками, но отказывалась утолить жажду, которую сама же и возбуждала.

Нам бы очень хотелось дать занавес именно на этой сцене, где Любовь, во всех своих разновидностях, смыслах и эксцессах посеяла лишь плевелы, предвещающие недобрые всходы. Увы, мы не можем этого сделать, ибо колесо Фортуны уже набирает свои обороты. Нам очень бы хотелось запечатать навсегда и двери того суда, где слушается это дело. И вся троица в необычном ее составе — пылкий юнец-офицер, уличенная красавица и двусмысленный дипломат — призывается к ответу с того самого дня, когда трагически оборвалась жизнь Пушкина. Однако, по крайней мере, один пункт обвинений, предъявляемых барону Геккерену, нуждается в дополнительном расследовании. [...]

Пушкин в известном своем письме к посланнику хотел предстать пред ним искусным дипломатом, хорошо осведомленным о том, «что делается у других»: «*Le 2 de novembre Vous eûtes de Mr. votre fils une nouvelle qui vous fit beaucoup de plaisir. Il vous dit... [galee igem неразобранный слог, оканчивающееся на -ité], que ma femme craignait ... qu'elle en perdait la tête...*». — «Второго ноября Вы получили от вашего сына известие, которое доставило вам большую радость. Он сообщил вам ... [прочитывается только конец слова -ité], что моя жена боится [нрзб], что она теряет голову...».

Но не содержание анонимных писем и не их внешнее оформление указывали на причастность к ним Геккерена, а три факта, названные Пушкиным в трех строчках, которые он потом зачеркнул, но все же не так тщательно, чтобы не задать работу нашему воображению. Вторую часть зачеркнутого придаточного предложения можно реконструировать с некоторой долей правдоподобия следующим образом: «*que ma femme craignait un scandale [un éclat, une histoire] au point qu'elle en perdait la tête*» — «что моя жена до такой степени боится скандала [или же чего-то подобного: „шумихи“, попасть в „историю“ и т. п.], что теряет от этого голову». [...]

Мы знаем место, день, час его последней дуэли, знаем высоту солнца над горизонтом, температуру воздуха, направление ветра, знаем размеры отверстия, которое проделала пуля в его черном сюртуке. Но на каждом шагу нам приходится признавать, что мы не знаем ничего.

Сидя в огромном, погруженном во тьму партере, мы зачарованно следим за тысячами ликов и тысячами превращений истины, этой самой знаменитой избалованной «правести» человеческой комедии, и аплодируем в конце спектакля, признавая тем самым, что между нами и нею простирается пропасть.

Своею смертью Пушкин увлекает нас туда, где все наши знания и наша уверенность теряют всякое значение, дешеваются, как товар, который слишком долго пролежал на заброшенном складе. Это — место, где многое знание граничит с полным невежеством, место, где пространство между причиной и следствием, которое казалось нам ничтожно малым и тысячу раз исследованным, вдруг оборачивается Сахарой непостижимых иероглифов, обманчивых теней, сомнительных миражей, ловушек.

Урок поэзии. Урок чуда. Урок божественного таинства.

\* рогат (фр.).

\*\* любовная записка (фр.).

\*\*\* поджигательница (фр.).

А может быть, именно «*verité*»<sup>\*</sup> скрывается за обломком слова, которое нас занимает? И тогда нам придется принять самую простую версию этой фразы. «Он сказал вам, что я догадывался о правде, что моя жена боялась скандала до того, что потеряла голову». Правда: это все и ничего. Но какая правда?

После того как мы столь долго вели за руку своего терпеливого и доверчивого читателя, у нас не хватает духу оставить его посреди лабиринта, из которого мы и сами не можем выбраться. Мы задолжали ему, по крайней мере, гипотезу. Вот она, основанная на очень слабых свидетельствах, ее уже давно подсказывает нам из суфлерской будки тихий вкрадчивый голос: у Пушкина не было доказательств, и адресат записки не Геккерен, а человек, написавший или заказавший «дипломы». В последний раз позволим продефилировать перед нами предполагаемым моральным убийцам поэта — бессловесным, тихим, припорошенным пылью времени: вот высокомерный и чванный министр народного образования, вот суровая Меттерних в юбке, вот иезуит с внешностью серафима, а вот хромой острослов.<sup>\*\*</sup> Если нам позволено выбирать только среди них, если только на одного мы должны наставить свой обвиняющий перст, то мы указываем на Петра Долгорукова.

Даже в рассказе мужа Наталия Николаевна предстает женщиной, которая готова слушать «бесстыжую старуху», загоняющую ее в угол, чтобы рассказать о любовных чувствах Дантеса. Даже в версии дочери, откровенно смягченной и романтизированной, Наталия Николаевна соглашается входить в интимные объяснения с преследующей ее зловещей Тенью. Почему она сразу же не послала ее в Ад, откуда та явилась, почему не прервала, решительно и сухо, эти тягостные и щекопливые беседы и не сообщила о них мужу? И зачем — когда, где, как? — Геккерен пытался толкнуть на «опасный путь» жену Пушкина? Вот что писал об этом посланник в письме к Нессельроде от 13 марта 1837 года: «Я якобы подстрекал моего сына к ухаживаниям за г-жою Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся. Если госпожа Пушкина откажет мне в своем признании, то я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь».

Перед рассеянными глазами возникают две сцены, исполненные прямо противоположного смысла: коварный совратитель подталкивает молодую супругу к пропасти адюльтера; мудрый советчик пытается удержать молодую женщину, безрассудно ступившую на край этой пропасти, и не останавливается даже перед самыми жестокими оскорблениями — лишь бы не дать ей совершить свой гибельный прыжок.

## ИЗ ГЛАВЫ «ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ»

О причинах и следствиях.

Целая страна подозревает, потом оправдывает, потом снова подозревает виновников случившегося, чье преступление — диффамация — с точки зрения юридической, не самое тяжкое, — и тем не менее именно оно запустило в действие смертоносный механизм. Сбивает с толку и ужасает именно эта дистанция между причиной и следствием. И словно бы для того, чтобы восстановить необходимую пропорцию, целая страна упрямо ищет морально ответственных за смерть Пушкина: в духе *Gotha*<sup>\*\*\*</sup>: министр граф Уваров, графиня Нессельроде, князь Долгоруков. Никто бы не поверил, каждый был бы почти оскорблен, если бы каким-то невероятным чудом вдруг открылось, что в истоке конца Пушкина стоит плебей, например — почему бы и нет? — тот же Фаддей Булгарин, который жалил Пушкина острым жалом «Северной пчелы», или кто-нибудь еще, столь же безродный.

Никто, например, не рассматривал кандидатуру Дмитрия Карловича Нессельроде, сына вице-канцлера, человека ничем не выдающегося и незаметного, который сделал значительную карьеру лишь благодаря мощной поддержке семьи. О нем мы знаем

\* Правда, истина (фр.).

\*\* С. Витале имеет в виду С.С. Уварова, М.Д. Нессельроде, И.С. Гагарина, П.В. Долгорукова (рег.).

\*\*\* «Готский альманах» — периодический справочник аристократических фамилий Европы. То есть разыскивает виновников смерти поэта среди титулованной знати.

только то, что в 1836 году он, как и Пушкин, был государственным чиновником на службе Министерства иностранных дел, что как-то раз он одолжил поэту экземпляр «Анжело» Дюма-сына, что он был «неумен, чванлив и плохо воспитан» и, по мнению императора, «носил слишком длинные волосы». Это, разумеется, ничего не доказывает, но, может быть, что-то доказывает тот факт, что его мать однажды сопровождала Наталию Николаевну в Аничков дворец? Мы ни в коей мере не хотим очернить и без того не слишком светлую память о Дмитрие Нессельроде, но показательно, что в этой уже вековой охоте за анонимом подозрение не коснулось его ни разу: врагов ищут среди людей влиятельных, находившихся — по крайней мере по рангу, титулу, социальному положению — в кругу поэта. И, как мы уже говорили, имя этим врагам — легион.

Неужели враждебность Нессельроде или Уварова была более интенсивной, чем та ненависть, которую испытывала к Пушкину графиня Коссаковская [...], та самая, что однажды неосторожно спровоцировала поэта: «А знаете, ваш „Годунов“ для России может быть действительно интересен». За чем последовал исполненный легяного спокойствия ответ: «Это в точности как с вами, мадам, — в доме вашей матери вы можете сойти за красивую женщину». С того дня графиня не могла слышать имени Пушкина без грози ненависти. А новая знать, которую Пушкин высмеял в «Моей родословной»? [...] Меншиковы, Кутайсовы, Разумовские, Безбородко, Клейнмихели узнали себя в стихотворении, которое в 1836 году ходило по рукам в рукописи, и, узнав, затаили ненависть и желание мести. Многие, как мы уже знаем, не испытывали симпатии к Пушкину, у многих были — или они считали, что были, — веские причины для желанья его оскорбить. Но не у главных подозреваемых: Гагарина, Долгорукова. Если это действительно один из них или они оба сочинили и разослали «дипломы», то, совершенно очевидно, речь шла о шутке — шутке гнусной и роковой, но всего лишь шутке. Но в это никто не хочет поверить, и все ищут побудительных мотивов, буквально притягивая их за уши. [...] И точно так же никто не хочет не только поверить, но хотя бы прислушаться к тому, о чем поведал Александр Васильевич Трубецкой в своем маразматическом «Рассказе»: «В то время некоторые молодые бездельники — среди них Урусов, Опочинин, Строганов, *mon cousin* — начали рассылать анонимные письма рогатым мужьям». Почему бы и нет? А потому, что когда речь заходит о смерти великого человека, гипотеза о простой шутке не убеждает — не удовлетворяет, не дает утешения. И самоценное зло — в том числе зло, которое таит в себе гнусная шутка, — сбивает с толку, пугает.

И если мы должны вести свои поиски среди врагов, то почему бы и не среди врагов Дантеса? Их было немного, это правда, кавалергард умел заставить себя любить. Но кое-какие дамы могли питать к нему злобу: например, «Супруга», которую он бросил поздней осенью 1835 года,<sup>\*</sup> и еще некоторые, которым он разбил сердце. У женщины мог быть мотив: ревность. И цель: навредить Дантесу и новому предмету его страсти.

## ИЗ ГЛАВЫ «ДВЕНАДЦАТЬ БЕССОННЫХ НОЧЕЙ»

Жорж Дантес — Екатерине Гончаровой. Петербург, 21 ноября 1836 года:

«Милая, добрая моя Катерина, видите, как бегут дни, и каждый непохож на другой. Вчера я был ленив, сегодня оживлен, хотя и воротился с ужасного дежурства в Зимнем

---

\* Установить, кто была эта женщина, не удалось. Для идентификации мы располагали лишь кратким упоминанием о ней Дантеса в письме Геккерену от 1 сентября 1835 года: «J'ai ma pauvre Epoque qui est dans le plus grand des desespoirs; la pauvre femme vient de perdre il y a quelques jours un enfant et se trouve menacée de perdre l'autre» («...моя бедная Супруга в совершенном отчаянии; бедная женщина несколько дней назад потеряла одно дитя и ей угрожает сейчас потерять другого»). Изученные нами генеалогические списки не содержат сведений о малолетнем (или малолетней), скончавшейся в Петербурге во второй половине августа 1835 года. И таким образом мы могли бы исключить, что «Супруга» Дантеса принадлежала к аристократии, если бы не то обстоятельство, что в генеалогических списках часто не приводятся даты кончины детей и подростков, в них ограничиваются лишь указанием: «умер (умерла) в раннем возрасте». Безрезультатно мы просмотрели и четыре тома Петербургского Некрополя (СПб, 1912—1913). Исторический архив Петербурга, где хранятся книги записей всех петербургских церквей за весь XIX век (а в этих книгах безусловно должен сохраниться след захоронения несчастного «enfant»), закрыт на реставрацию на несколько лет. И это очень жаль, поскольку интуиция подсказывает нам, что не следует отклонять эту гипотезу, прекращать идти по следу этой ревнующей Дантеса женщины как возможного автора анонимных писем; вполне может быть, что речь идет именно о той женщине, о которой Пушкин говорил Соллогубу утром 4 ноября.

дворце. То, что я нынче утром прокричал вашему брату Дмитрию с просьбой передать вам, это для того, чтобы вы хоть как-то дали о себе знать. [...] Я видел нынче утром Известную Вам Даму и, как всегда, подчинился вашим высочайшим распоряжениям, любимая. Я решительно заявил, что был бы крайне ей благодарен, если бы она положила конец всем этим бессмысленным переговорам и что если ее мужу не хватает ума понять, что во всей этой истории он ведет себя как глупец, она попусту тратит время, стараясь ему что-нибудь объяснить».

Мы датируем письмо, основываясь на указаниях о дежурстве в Зимнем дворце.

### ИЗ ГЛАВЫ «ДЕРЗОСТИ ПО ПОВОДУ ПЕДИКЮРА»

В том году зима запаздывала. В конце ноября редкостно теплая погода привела к вскрытию ледового покрова на Неве — необычное явление, не наблюдавшееся с 1800 года. Однако жителям Петербурга не пришлось насладиться запоздалым бабьим летом: на город сразу же опустился желтоватый плащ тумана, и на долгие дни зарядил нудный дождь пополам со снегом, самый верный союзник инфлюэнцы и бронхита. 12 декабря эпидемия инфлюэнцы дошла и до царя. В тот же день заболел Жорж Дантес.

Жорж Дантес — Екатерине Гончаровой, Петербург, 22 декабря 1836 года: «Барон поручает мне просить вас о первом полонезе, а также о том, чтобы вы держались немного в стороне от Двора, чтобы он мог вас сыскать. Я и без вашей записочки знал, что госпожа Хитрово конфидентка Пушкина. По-видимому, она никогда не изменяет своей привычке совать нос в дела, которые ее не касаются. Сделайте милость, если об этом снова зайдет речь, то заявите, что госпожа Хитрово поступила бы много лучше, если бы вместо того, чтобы обсуждать поступки других, занялась бы собственным поведением, особенно в том, что касается приличий, материи, о которой она, по-видимому, давно забыла. [...] Досадно, что завтра утром у вас не будет экипажа, но поскольку, я думаю, вы лучше меня знаете, чем вы располагаете для выездов, не мое дело давать вам советы. Но как бы то ни было, мне не хотелось бы, чтобы вы испрашивали разрешение по всей форме у вашей дорогой тетушки».

Письмо без даты. Мы датируем его 22-м декабря 1836 года, поскольку оно содержит указания о бале, на котором Дантес не мог быть (по нашим предположениям, он был болен), но на котором должен был присутствовать Двор. Мы предполагаем, что это был бал во дворце княгини Барятинской, который состоялся как раз 22 декабря 1836 года.

Серена Витале

P.S. Наш текст был уже в типографии, когда нам удалось прочитать «Легенды и мифы о Пушкине», опубликованные в Петербурге осенью 1994 года. Там, среди прочих статей, развенчивающих, как обещает название, «легенды и мифы о Пушкине» (не все легенды и не все мифы), мы находим статью Я. Левкович «Жена поэта», автор которой наконец-то предпринимает попытку корректно, отринув предвзятые искажения, подойти к фигуре Наталии Николаевны. Мы желаем этой книге самой широкой читательской аудитории, хотя боимся, что понадобится еще очень много времени для того, чтобы соскоблить с Памятника-Пушкина все общие места и идеологические наслоения.

Публикация профессора Серены Витале (Италия).  
Подготовка писем к печати в России  
и вступительная статья В. П. Старка.  
Перевод писем с французского М. И. Писаревой,  
фрагментов книги «Путовица Пушкина»  
с итальянского — С. К. Бушуевой

\* «Памятник-Пушкина» — выражение Цветаевой в ее очерке «Мой Пушкин». (Прим. ред.)